

Виктор Гусев-Рощинец

Времена

Избранная проза разных лет



Виктор Гусев-Рощинец

**Времена. Избранная
проза разных лет**

«Издательские решения»

Гусев-Рощинец В.

Времена. Избранная проза разных лет / В. Гусев-Рощинец —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-856793-3

Сборник включает в себя основной наиболее представительный корпус малой прозы автора и роман «Шпион неизвестной родины».

ISBN 978-5-44-856793-3

© Гусев-Рощинец В.
© Издательские решения

Содержание

Рассказы	6
Исторические прецеденты	6
В иных мирах	15
Рязанский конвой	19
Политический процесс	25
Наручники	35
Похвальное слово аквалогии	41
Театр теней	50
В порту	58
Непротивление злу насилием	66
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Времена

Избранная проза разных лет

Виктор Гусев-Рощинец

© Виктор Гусев-Рощинец, 2018

ISBN 978-5-4485-6793-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Рассказы

Исторические прецеденты

«В перспективе человеческого духа смерть – это не то что дано, а то что следует сотворить; это задача, которую мы активно берём на себя и которая становится источником нашей активности и нашей власти»

(М. Бланио, «Смерть как возможность»)

Он не любил себя в такие дни. Установившаяся жара изнуряла к тому необычайной влажностью, и что-то уже по-видимому сдвинулось в атмосфере, рождая циклон, который налетит через два-три дня, и только тогда придёт облегчение, восстановится душевное равновесие. Проклятая метеочувствительность! Она не столько досаждала общей расслабленностью, сколь депрессией, в которую повергала его в эти периоды, предшествующие погодным сдвигам. Он не помнил, чтобы нечто подобное происходило с ним в молодые годы. Может быть, это возраст? Но ведь он ещё совсем не стар, шестьдесят прожитых лет не сказались на здоровье, если не считать лёгкого поскрипывания в суставах, поредевших волос и вот этих внезапных «душевных провалов», угрожающих – всего более боялся он – работоспособности.

Он знал, что многие называют его диктатором. Жалкие глупцы! Им наплевать на величие нации. Невдомёк, что История – с большой буквы – во все времена движима была «диктаторами», попросту говоря – личностями, а уж отнюдь не чернью, не «массами», которые хотя и «восстали», но ведь не стяжали ничего кроме сомнительной славы «потребителей». Читайте великого Ортегу! (Впрочем, о его философской привязанности было известно уже достаточно хорошо – позаботились многочисленные интервьюеры.) Трагедия народа состоит в том, что его толщу не пронизывают могучие корни аристократических родов, не крепят «почву», не предохраняют от оползней и обвалов. Корчеватели хорошо постарались, некогда великая нация стала обыкновенным сбродом, который вновь может сплотить только высокая цель, и только неустанное, упорное движение к ней способно породить новую аристократию. Говорят, что он развязал гражданскую войну. Чушь! Гражданские войны не прекращались нигде и никогда. Искусство правителя всегда состояло в том, чтобы превратить войну гражданскую в войну освободительную, а если нет достойного противника – придумать его. Ему посчастливилось прийти к власти именно в тот момент, когда «образ врага» (он с удовольствием использовал эти модные пацифистские словечки) – этот отвратительный лик выступил с отчётливой ясностью, и не потребовалось его изобретать, чтобы направить в нужную сторону стрелу народного гнева. Восточный тиран жестоко ошибался, когда призывал на головы соплеменников гражданскую войну – в итоге он расколол мир и едва не пустил под откос земную цивилизацию. А что можно сказать о Западе, который кичится своим благополучием, в то время как самая настоящая гражданская война набирает силу на улицах и площадях его чистеньких ухоженных городов, где бесчинствуют банды каких-нибудь «бритоголовых», сумасшедшие одиночки палят из автоматов по толпе, а герои-подпольщики взрывают коляски с младенцами? Не новый ли восточный владыка, похоже, не прочитавший ни одной книги, опухший от пьянства, отупевший от лести, не он ли обратил в руины один из красивейших городов своей страны? Не он ли палил из пушек по окнам парламента, крича при этом о приверженности демократическим принципам? Жалкий трус! Уж лучше бы сразу короновался на царство, по крайней мере, никто не смог бы тогда упрекнуть его в демагогии. Высшее достоинство политика – искренность, если ты идёшь к своей цели по трупам сограждан, то лучше не делать вида, что указываешь путь в рай.

Он придвинул к себе папку с бумагами «на подпись», но не открыл её; откинувшись на спинку кресла, положил обе руки на гладь шелковистой голубой кожи и расправил пальцы; потом снова сжал кулаки, придирчиво рассматривая пятна на тыльной стороне правой ладони. Даже кварц не мог затушевать эту предательскую печать старости. Почему именно правая рука? Не оттого ли, что устала держать кормило власти? Пожалуй, прошло время, когда он открыто мог гордиться изяществом линий, стекающих к замку-запястью, замыкающему стальным охватом бугрящиеся тропинки мышц. Его руки нравились женщинам. Но теперь? – вряд ли; он давно уже не слышал комплиментов – может быть потому, что в его жизни теперь не было *женщин*, он не мог позволить себе прежние вольности, ведь он стоял на страже морали.

Напольные часы в дальнем конце огромного кабинета пробили восемь, взломав тишину долго не стихающим колокольным гудом. Он выключил настольную лампу и перевёл взгляд на окно. Солнце, ещё скрытое горами, но с минуты на минуту обещавшее ударить из-за хребта залпом первых лучей, сейчас окрашивало восточную часть небосклона расплавом охры, сурика и черни, исподволь готовясь окунуть мир в холодную светлую лазурь.

Он всегда встречал солнце лицом к лицу. Ничто, даже экстренные совещания, порой длившиеся ночами, не могли помешать ему подставить лицо и грудь первому, бьющему в упор лучу солнца; он часто думал, что с такой же радостью принял бы вспышку ружейного залпа, если бы не мерзкий обычай нынешних застенков убивать выстрелом в затылок. Ублюдки! Кто из них может похвастать, что отменил смертную казнь? Что искоренил преступность – лишь только тем, что, поставив под ружьё, дал молодёжи выход для её копящейся неуёмной энергии. Есть только одна истинно великая держава, достойная того, чтобы учиться у неё государственной мудрости. Как бы ни поносили её кретины антисемиты, она воочию показала каким сплочённым становится народ перед лицом внешней опасности. Нация, говорит Ортега, это каждодневно возобновляемый плебисцит. Что ж, это справедливо, трудно что-нибудь возразить. Но ведь всё упирается в человеческий материал, одному богу известно что роится в головах, не затронутых размышлениями, а лишь торчащих с раннего детства перед экранами телевизоров, наполняющих души унынием и пустотой. Какая буря поднялась в парламенте, когда он своим указом запретил демонстрацию фильмов, пропагандирующих секс и насилие! Какие слёзные причитания об удушенной свободе! О попранной демократии. Демократия! Что смылила в ней жалкая кучка недоумков, ввалившихся во Дворец после очередного неудачного «плебсцита»? Они только и умели что затевать драки в президиуме и паясничать перед телекамерами. За полгода ни одного порядочного закона, кроме толстого перечня собственных привилегий. Он ничуть не жалеет о своём шаге, хотя и стоившем ему бессонных ночей, но очистившем политическую атмосферу подобно тому, как очищает и освежает воздух грозовой разряд. По крайней мере, он не палил из танков по людям, каким бы сбродом ни казались они ему и как бы ни досаждали своей глупостью. Он распустил их по домам в полном согласии с Конституцией.

И что же? (Отделанные морёным дубом стены порозовели: солнце вспыхнуло раньше и не там, где он ждал его, а чуть южнее по линии хребта – он не учёл того, что несколько дней уже не встречал рассвет во Дворце.) Опять устраивать выборы? Чтобы новая генерация бездельников оседлала народ, пользуясь его безграмотностью и нищетой? Нет, он не для того понёс этот крест, чтобы дать себя сбить с пути, предначертанном ему судьбой, пути, продуманном до мельчайших деталей; в конце его он видел отнюдь не себя на гранитном пьедестале перед фасадом Дворца, а только лишь свой просвещённый народ, охраняемый сильным государством. Он искренне верил в просвещённую диктатуру.

Он встал из-за стола, подошёл к окну, распахнул его. В комнату ворвался воздух, напитанный запахом цветущего миндаля. Сегодня даже великолепие рождающегося мира бес- сильно было пробудить восторг, часто охватывавший его при виде столь властной, пронзающей красоты. Большинство своих сочинений он обязан ныне утраченной способности востор-

гаться перед лицом жизни, облачённой в тогу бессмертия. Мир, говорит Декарт, каждую секунду творится заново. Время дискретно, и если сейчас ты есть, то в следующую секунду можешь не быть. Бытие нерасторжимо с мыслью, оно само и есть мысль, и если ты мыслишь, можешь сказать себе: «Я есть.» Лет десять назад он, вероятно, устремился бы к письменному столу, чтобы немедленно записать стихами это нечто, пока ещё не оформившееся, но явственно проникнутое опущением глубины. Но теперь... Хватит того десятка изданных томиков, что стоят позади него за стёклами шкафа, тех девяти с половиной фунтов (он однажды в шутку взвесил собрание своих сочинений – потом они долго смеялись), максимум (?) сколько он хотел бы ещё написать... Он задумался. Сколько? Счёт пошёл на унции, граммы. Поэтический дар покидает и, вероятно, скоро покинет его. Всё, что он написал за последние годы, пронизано чувством вины и достойно лишь того, чтобы пылиться в личном архиве. Может быть, только «На смерть матери»... Но кому это нужно, кроме неё самой, её души, витающей где-то неподалёку, прикованной любовью к единственному сыну, страдающему от сознания непоправимой, безысходной вины: она умерла внезапно, а он, поглощённый государственными делами, не был рядом, не держал её руку в своей, когда она ступила за край..

Он никогда не был нежен с ней, знал, что она этим печалится, но только теперь, осознав до конца меру своего молодого эгоизма, испытал глубокие отцовские чувства, понял, что переживала она в своём одиночестве, именуемом старостью. Наверное, так остро жалящее чувство вины есть неминуемая расплата за чёрствость, которой защищается душа от покушений на свою независимость. Сильные духом инстинктивно оберегают себя от «сантиментов», угрожающих Самости, способных поколебать уверенность в правоте собственного пути.

Вошёл Бранко. Нет, сегодня ещё рано. Он проспал дольше обычного, документ не подписан.

– Они ждут, господин Президент.

Ничего, подождут. Надеюсь, под плащом у тебя нет ледоруба, мой преданный Бранко, если бы ты знал, как это страшно подозревать, опасаться даже тех, кому, в сущности, веришь, как самому себе. Ты, конечно, догадываешься: я всегда становлюсь у раскрытого окна так, чтобы правая створка отражала входную дверь, я вижу тебя, хотя отлично понимаю, что в этом нет никакой надобности, вряд ли существует надёжный способ избежать покушения. Но когда начинаешь подозревать соратников – дни твои сочтены.

– Совет Безопасности назначен на девять, но они уже собрались, господин Президент. Они ждут в Малахитовом зале.

Какая, однако, спешка.

– Иди, Бранко, и скажи им: документ подписан. Скажи, что я не совсем здоров и выйду к ним ровно в десять. Иди, иди.

Скрылся так же неслышно, как вошёл. Славный Бранко! Пожалуй, внуки забрали у него самое лучшее: славянскую статью, в которой неуловимо сочетаются молодая гибкость пшеничного колоса и былинная мощь древних родов. Ему повезло с зятем. Чего не скажешь о дочери. Вот уж где, право, неутихающая зубная боль. Всё то же чувство вины, осложнённое неприязнью, как бы возводящей эту вину в квадрат и окунающей душу в чернильную горечь. С тех пор как она сбежала на Запад и начала эту неуместную кампанию за восстановление демократии, он со стиснутыми зубами заставлял себя просматривать утренние газеты и всякий раз, натываясь на её пропагандистские речи, поражался тому упрямству, с которым она в прямом смысле слова толкала в могилу собственного отца. Вот кто мог поспорить с ним страстностью и негибкостью волей. Оставить двоих детей ради (видит бог, неправого!) дела – для этого надо обладать горячей кровью. Воистину, дети наследуют у сонма предшествующих поколений. В его роду было много борцов за справедливость, хотя каждый из них понимал её по-своему. Если чего-то и не хватает Бранко, то вот именно страстности, он слишком мягок, не будь он таким, мог бы стать хорошим преемником – до тех пор, пока не подрастёт внук.

Монархия? А почему бы и нет? Разве мало вдохновляющих примеров? Кто как не просвещённый монарх, свободный в силу своего положения от корысти и страха перед завтрашним днём, сможет больше чем кто-либо заботиться о своём народе? Кто сможет дать ему настоящему действенную конституцию, не боясь, что она ударит по нему самому? И разве не самые страшные режимы родились во чреве так называемой демократии? Только абсолютная власть делает свободным для совершения великих преобразований, ничто иное. Но тяжёлый путь к ней...

Он отошёл от окна и снова приблизился к столу. Папка из голубой кожи теперь светила в дымящемся луче солнца как маленькое озеро. Таким безмятежным выглядит часто кратер вулкана. Этот мягкий ошмёток сейчас таил в себе столько же коварства и необузданной силы. Как, в сущности, легко вершится власть! Несколько росчерков пера – и «кляча истории» взбрыкнёт молодой лошадкой и понесёт невесту куда. Прав был русский поэт: нет ничего проще – загнать её, достаточно отпустить поводья. Вся так называемая мировая история – это история преступлений и массовых убийств. Единственная подлинная история – человеческая жизнь. Если бы можно было записать биографии всех когда-либо живших на земле – вот тогда бы составила История.

Он подумал о сыне. Мальчик прав: самая почётная миссия – обустроить «башню из слоновой кости» и поселиться в ней, закрывшись от мира чем-нибудь полупрозрачным, и чтобы Мир забыл о тебе, забыл твоё имя, как он забыл имена древних китайцев, однако храня их бессмертные творения. Первым что он сегодня подпишет, будет реформа образования. По всей стране будут создаваться закрытые учебные заведения для избранных – не происхождением, но талантом. Он пригласит лучших умов Европы и Америки, чтобы сделать гуманизацию просвещения реальностью, а не только красивой сказкой, где его авторство отпечаталось так ярко, что уже в проекте народ окрестил программу Президентской. Пусть так, ему нечего на это возразить, да и нет желания. Пусть недруги называют его Великим Магистром, они преисполнены иронии по поводу задуманных им преобразований и уже видят страну этаким новой Касталией, – они уже забыли о реформе военной, ещё раньше сделавшей их небольшую профессиональную армию сильнее многих на континенте. Тогда они критиковали его за принципиальный отказ от ядерного оружия, а ведь если история чему-то способна научить, то это банальнейшей из истин: настоящая сила произрастает не на стали и огне, а на хлебе и мясе, да ещё, пожалуй, твёрдости духа.

Прежде чем сесть за стол и начать работать, он вернулся к окну. Теперь его взгляд не блуждал по исчерченной дорогами, разграфлённой виноградниками долине, по горным склонам, местами подёрнутым белёсой дымкой, по красноватому профилю хребта – теперь он вглядывался в предлежащую зелень парка, где подспудно копилась энергия, ведомая лишь ему одному: то там, то здесь мелькали среди деревьев маленькие фигурки в камуфляже, как будто невидимой рукой переставляли солдатиков в детской игре, создавая для противника «матовую» ситуацию. Чёрным жучком подползал к ограде БТР, за ним второй, третий.

Он сел за стол и раскрыл голубую палку. Быстро пробежав глазами, отложил в сторону первый лист из груды требующих подписи. Несколько строчек на белом поле выстреливали в упор, заставляли на мгновение замереть всякий раз, когда сквозь обтекаемые формулировки прорывался чудовищный в своей бесчеловечности смысл. Какое, однако, восхитительное упрямство! Четвёртый день кряду эта бумага подминает под себя всё, неизменно оказываясь наверху. Славный Бранко! – он даёт понять, что продолжение тяжбы по меньшей мере бессмысленно, пора наконец решиться и поставить жирную точку после того как нетвёрдой рукой (скажется бессонная ночь) он распишется под этим Указом. Под *этим*? Шутить изволите, господа. Под *этим* вы никогда не увидите моей подписи. Даже если будете сутками дежурить в приёмной или там где вы сидите сейчас в ожидании «торжественного момента». Вы думали, у вас будет ручной президент. Не отрицаю, вы поддержали меня в решительную

минуту, когда завязанный Парламентом гордиев узел потребовал острого топора. И вы решили, что явитесь достойной сменой отправленным в отставку болтунам и клоунам. Здесь вы ошиблись. Моя идея создать Совет Безопасности произрастает на другой почве, о которой может быть и догадывались некоторые из вас, но уж никоим образом не простирали свою убогую фантазию так далеко, чтобы разыграть эндшпиль. Теперь мне не надо разыскивать вас поодиночке, беспокоить полицию, ужесточать пограничный контроль – все тринадцать, наиболее влиятельные лица в государстве (не скажу, простите, самые умные) сидят в своём излюбленном Малахитовом зале и ждут, когда их ставленник-президент любезно преподнесёт «на серебре» вождьеленный Указ.

Он положил перед собой чистый лист и от руки набросал распоряжение. Сегодня с девяти ноль-ноль Совету Безопасности вменялось прекратить деятельность и сложить полномочия. Он посмотрел на часы, оставалось ещё пятнадцать минут. Они войдут одновременно – Бранко и генерал Суджа с тринадцатью ордерами на арест.

Странно, чем более решительности в душе, тем больше дрожит рука. Проклятая бессонница! Впрочем, сегодня он, кажется, немного поспал, если можно назвать сном это забытье, когда картины прошлого, выстраиваясь в какой-то причудливый, алогический ряд, перемежаются короткими связками-сновидениями, придающими всему пережитому ирреальный оттенок. Недавно ему – приснился? привиделся? – маленький эпизод детства. Ему было девять или десять лет, его отправили в деревню отбывать каникулы – занятие в общем-то приятное, когда б не комары, всегда питавшие к нему особую склонность. В день поминовения усопших с гор подул сильный ветер, он обломил шест, на котором был укреплен дедом скворечник. Птичий дом рухнул на утрамбованную до твёрдости камня площадку хозяйственного двора и разбился вдребезги. Четырёх изуродованных окровавленных птенцов он похоронил на выгоне под старой ветлой и каждый год потом навещал это маленькое «кладбище», заново переживая давнее потрясение. Возможно, что именно то детское впечатление от созерцания реальной смерти побудило его отменить смертную казнь. А теперь эта чёртова дюжина, возомнившая себя властью, толкает его на массовое убийство мирных жителей своей же страны. Сколько времени он потратил, доказывая абсурдность их плана! Депортация населения целой провинции чревата сотнями, может быть, тысячами трупов – женщин, детей, стариков. Пусть они исповедуют другую религию, но ведь он-то никогда не придавал значения религиозным мотивам, смеялся над всеми и всяческими «божественными бреднями». К тому же известно: участие армии всегда оборачивается «случайно» раздавленными, застреленными, зарубленными. Нет, он не пойдёт на то чтобы использовать демографическое оружие. Как бы ни досаждали закордонные «единоверцы» своими неуклюжими попытками оторвать этот лакомый кусочек от их исконных земель. Вошёл Бранко.

– Ваша жена, господин Президент.

Вот кто ему не нужен сейчас! С другой стороны, в такие моменты нельзя оставаться одному. Разумеется, лучше, если б она разделяла его планы, и всё же никогда, он уверен, она не станет рядом с дочерью (он снова поморщился как от зубной боли), чтобы вести войну против того, с кем прошла по жизни. В брачной лотерее ему повезло.

– Подойди сюда, Бранко. Возьми вот это. Ровно в девять ты войдёшь в Малахитовый зал и считаешь его так называемому Совету безопасности. Перед входом тебя ждёт генерал Суджа, он войдёт вместе с тобой. Иди,

Молодец, Бранко. Ни один мускул не дрогнул на твоём лице. Ты давно этого ждал, верно? Надеюсь, твоя мягкость не помешает тебе сегодня прочитать эти несколько строчек твёрдым голосом – у тебя красивый тембр! Если ты станешь моим преемником, народ полюбит тебя за одно только мужественное лицо – чернь обожает актёров. Перед тем как передать тебе власть я прикажу по всей стране крутить фильмы с твоим участием. Успех гарантирован! А ведь ты

ещё и умён, и хитёр, и смел. У меня была возможность убедиться в твоей храбрости. Надеюсь, мой внук унаследует её от тебя.

Когда она вошла, он сидел, откинувшись на спинку кресла с закрытыми глазами, стиснув пальцами деревянные подлокотники до белизны в суставах. Она подумала: так цепляются за выступ скалы чтобы не сорваться в пропасть. Восковое лицо, маска потусторонности, налагаемая бессонницей. С тех пор как он стал всё чаще проводить ночи во дворце, неуловимая дымка страха разграничила их тела, день ото дня становясь, однако, плотнее, осязаемее, грозя превратиться в нечто непроницаемое – стекло, покрытое морозным узором. Ещё продышав «окошко» можно посмотреть друг другу в глаза, но для тёплых прикосновений путь закрыт. Тела мертвеют, им уже не хватает внутренней энергии, чтобы растопить лёд на стекле, и души перестают видеть одна другую. Если ты отпустила от себя мужчину, рано или поздно образ твой померкнет в его душе – тогда нужна хирургическая операция.

– Ты не спал сегодня?

Он открыл глаза. Наверное, привычки неистребимы – что бы ни случилось, первым объявляется на посту неподкупное «да – нет»: сегодня оно расписалось в тотальном признании – Никта была в сиреновом дорожном костюме с белоснежной кружевной оторочкой по воротнику и рукавам «три четверти». Её лицо и руки покрывал нежный морской загар – всего лишь час назад она прилетела из Ниццы, где провела неделю, обустривая новый, недавно купленный дом. Это была её причуда, одна из многих, – но ведь он никогда ни в чём не отказывал ей; возможно, поэтому их брак оказался таким прочным, его не смогли поколебать даже увлечения, которым они оба отдали немалую дань на протяжении этих тридцати лет «совместной борьбы» – так она в шутку называла их брачную эпопею. Ничего странного, оба они были – в теории – противники моногамии, и только «несовершенство мира» (говорила она) заставило их следовать по пути общепринятого; он, впрочем, никогда не объявлял о своих «сексуальных убеждениях» – и без того известны мужские склонности, зачем говорить о них? Однако за тридцать лет проросли друг в друга, стянутые семейным обручем, усмиренные души, и образовалось нечто новое, чему нет названия, хотя заведомо ясно, что удел сей достаётся многим. В последнее время он часто думал об этой подкравшейся исподволь зависимости (если не думал о делах государственных), пытаясь представить себя лишённым поддержки, в этой зависимости странным образом заключённой. Он знал: Никта переписывается с дочерью; в этом как бы тлела надежда на понимание или, по меньшей мере, на то что политика и семья останутся разными континентами, разделёнными – водной, горной – преградой, преодолевать которую ни у кого не достанет ни сил, ни охоты. Надежда питалась пожеланиями здоровья, непременно содержащимися в каждом послании и адресованными лично ему, «папе», иногда – кто бы мог поверить! – даже упакованными в мягкое кружево бесплотных поцелуев. Но никогда «ты», ни одного прямого обращения, ни одного письма с перечнем политических обвинений и угрозами, наполняющими её выступления в прессе, по радио, на телевидении. В этом «политическом раздвоении» он угадывал тайный замысел: если в двух зеркалах перед собой ты будешь видеть изо дня в день совершенно разных людей, то поневоле начнёшь сомневаться – кто из них настоящий? Ни для кого не секрет, что политика – предприятие оборотней. Она как будто специально придумана для актёров, обожающих роли доктора Джекиля и мистера Хайда. Только гибнут на этой сцене всерьёз. Но ведь он не такой, он вообще не актёр. Не политик? Возможно, так. Возможно, это и хочет показать ему дочь, поставляя перед ним два исключаящих друг друга изображения, одно из которых – его Я, каким оно видится из «башни Самости», а второе – набивший оскомину персонаж дешёвых триллеров, этакий Терминатор, починяющий на столе свой собственный кибернетический глаз. Ничего не скажешь, по законам оптики изображение получается на редкость объёмное.

Никта присела на край дивана, поставив на колени маленький саквояж, по форме напоминающий кофр. Его всегда восхищала её готовность. Во всём, даже в услугах тела, испове-

дующего преданность влюблённой страстно душе, но честно отрабатывающего условия брачного контракта. Беспрекословно повинующегося предписаниям чужой эротической фантазии, отнюдь не только, он догадывался, его собственной. Сегодня он, кстати, покончит и с этим.

– Как ты поступишь с ними?

Спросила всё-таки, не удержалась. Дело обычное – сдают нервы. Её всегдашняя обаятельная невозмутимость на этот раз бесславно отступила.

А что, правда, он с ними сделает? Арест, заключение под стражу – это лишь первый шаг, рубеж, после которого должны последовать другие действия. Какие? Ведь это и рубеж в наступлении его собственной власти. Рубикон, который он перейдёт сегодня или погибнет. История оправдала Цезаря, оправдает и его. Даже если река вниз по течению окрасится бурым от пролитой крови. (Как часто, подумал он, поэтические метафоры приносят на своих нежных крылышках вещи серьёзные! Кажется, Малларме сказал: мы пишем не идеями, а словами.) Нежданная мысль о *крови* заставила его вздрогнуть.

– Так же, как они поступили бы с нами, отними власть.

Побледнела. Потому что знает: политика – дело кровавое. Почти такое же, как стихоплётство. С той только разницей, что пишешь собственной кровью, а в «политических триллерах» готовишь похлёбку из вырванных языков. Видит бог, они сами толкнули его на это. Возврата нет. За спиной сомкнулась безгласная толпа, влекущая к горловине лязгающего, вбирающего тела гигантского эскалатора. Похоже на ощущение, которое охватывало его раньше при входе в подземку в часы пик: не страха, но обречённости. Вниз! Вниз! До сих пор в ушах его звучали возгласы бегущих в подвал по лестнице их старого дома на Славутинской. Вой сирены, истеричное тьяканье зениток, раскаты близких фугасов. Он хорошо знал, что такое война. Если он сохранит им жизнь, эти тринадцать «апостолов» развяжут гражданскую войну.

– Ты этого не сделаешь!

Он прислушался к интонации, пользуясь коротким эхом, прокатившимся через замкнутое пространство. Пожалуй что конец фразы похож на восклицание. Почему она так думает? Не верит в его способность к решительным действиям? Или, напротив, слишком верит в гуманность? Но разве не очевидно, что политик совершает свои поступки в пространстве смерти? Впрочем, как и поэт. Искусство и политика – вот два пути, которые открываются перед нами, когда мы отправляемся на поиски смерти – чтобы укрыться от неё. Ведь прятаться от смерти, говорит Бланшо, то же самое что прятаться в ней.

– К сожалению!

Когда нарыв созрел, достаточно сделать лишь маленький надрез, чтобы накопленное большими, бессонными ночами, перебродившее в крови, рвущееся наружу, отторгаемое здоровым телом, чтобы всё это выплеснулось; тогда – если выплывешь, не захлебнёшься отвратительной зловонной жижей – ощутишь лёгкость, какую, должно быть, испытывает младенец, когда воздух впервые надувает его стиснутые утробой лёгкие. Для этого даже не надо брать скальпель. Просто-напросто однажды утром, во время бритья, рука, старавшаяся тщательно обходить больное место, дрогнет, зацепив уголком лезвия побелевшую от натяжения кожицу – так случаются оговорки, описки: кто-то подсовывает нам не то, что надо, полагаем мы – и ошибаемся, потому что этот «кто-то» – мы сами, спрятанные, спрятавшиеся под оболочкой «долженствования». Делаешь то, что не должен делать, – будто оправдываешь пресловутое «стремление к смерти». Ибо нет ничего более «законного» в этом мире, чем смертельная ошибка.

Последнее время он часто думал: как происходит выбор? Пожалуй, ничто другое, кроме политики, не подвержено так «душевному заболеванию» – усталости, возбуждению, гневу, радости, состраданию, страху, подавленности, тревоге, стыду, ревности... и бог знает чему ещё.

Именно тревога, накалявшаяся вот уже несколько недель, казалось, вместе с полуденным, потускневшим от безветрия, одышливым солнцем, – тревога неудержимая, как молодая

страсть, принудила его попросить жену увезти сына. Всего на несколько дней – ведь мальчику давно хотелось увидеть их новый дом. Тем более, он никогда ещё не был за границей.

– Зачем ты вернулась?

Ничего удивительного – ошибки множатся с энергией камнепада. Первая состояла в том, что немедленно по приходе к власти он не отправил сына в Оксфорд. Несчастный идеалист! Такой же, как этот писака, придумавший Касталию. Вторая: не принял меры к их «домашнему заточению» – там, на Ривьере, каковую всё чаще примеривал к себе на случай мирного ухода в отставку. Или военного отступления, почётной ссылки. Или просто бегства.

И вот теперь, вернувшись одна, без сына, Никта тем самым подала знак врагам – если не о времени, то по меньшей мере о самом факте, замысле его государственной «перестройки». (Ему нравилось как звучит на языке-прародителе это слово, покоровшее мир и так хорошо лежащееся этикеткой на любое зелье.)

– Не беспокойся за него. Роберту понравился дом и парк, и особенно яхта. Он с твоим любимцем Исой.

Ещё бы! Не хватало притащить ребёнка накануне событий. Она думает, что ей позволено было бы это сделать. Нет более преданных и надёжных телохранителей, чем кавказцы. Исмаил Хаджиев скорей увёз бы мальчика в Турцию, чем отдал легкомысленной матери. Яхта, говорят испанские рыбаки, не роскошь, а средство передвижения.

Впрочем, она ещё и упряма. Для её домашнего ареста нужен взвод солдат, не меньше. И всё же для успеха дела их надо было бы вызвать ещё вчера – всех: показать этой подозрительной своре, что им нечего опасаться, – ведь его нежная любовь к сыну известна всем. Никому бы не пришло в голову, что он способен подвергнуть мальчика опасностям, которыми чреватые политические метаморфозы такого сорта. Политик или не должен иметь семьи или уметь ставить на карту собственных детей, даже если проигрыш почти неминуем.

Понимает ли это Никта? Не означает ли её неожиданный приезд именно попытку обезопасить этот шаг над бездной, каковая суть глубина всех земных «рубиконов»? С другой стороны, если бы она действительно, по-настоящему стремилась к тому, то ни один, даже самый неистовый кавказец не смог бы воспрепятствовать её воле, и сейчас Роберт был бы здесь, рядом. Очевидно, женщины так редки в политике именно потому, что не способны перешагнуть через свои материнские чувства. Они могут пожертвовать собой, но – не детьми. Не любовью.

Часы в дальнем углу кабинета издали характерное шипение, предвещавшее первый удар. Он посмотрел на дверь. Поскольку она не подавала признаков жизни и с тем же равнодушием выслушала девять гулких раскатов, и молчал телефон, он выдвинул нажатием кнопки потайной ящик в торце стола, обращённом в сторону, противоположную двери. На дне его на поролоновом матрасике лежал автомат Калашникова. Стоящим у входа – проверено – тайник не виден, зато ему требуется секунда чтобы, слегка нагнувшись, левой рукой подхватить воронённый ствол и открыть огонь.

Чёрт возьми, всё это уже было. Гарри Морган, Сальвадор Альенде... Подумав, он задвинул ящик обратно. Резюме: если ты хороший поэт, не занимайся политикой, всё равно ничего не выйдет. Подведёт твоя же собственная чувствительность. Только бездарности вроде того боснийского комбатанта могут так долго держаться на плаву, получая вместе с оружием литературные премии от восточных единоверцев.

Президент был хорошим поэтом.

– Он знает, что ты приехала?

Ну, разумеется. Было бы странным случайно не встретиться в коридоре. На лестнице. В курительной. Где там они встречались? Ну, хорошо, – где *он* обычно поджидал, чтобы вручить тебе очередное страстное послание? Смешно, конечно, ревновать в нашем возрасте. И к кому? К ничтожеству, которое сам же я вытащил из партийной клоаки и сделал секретарём

Совета лишь в расчёте на то, что его двухметровый рост, квадратная челюсть и громовой рык обманут двенадцать других таких же ничтожеств и помогут им принять клоуна за Дантона. Я, пожалуй, недооценил его в одном – в умении сделать Совет Безопасности самым опасным предприятием в стране. И ещё – в уровне притязаний. Не только сесть в президентское кресло, но и улечься в его постель – замысел, достойный Политика с большой буквы. Впрочем, от его так называемой любви не останется и следа, – как только он разделается со мной, тебя, Никта, отправят на погребальный костёр – сопровождать мужа в загробных странствиях.

– Я тебе верю, Никта. Я всегда тебе верил. Может быть, это была моя ошибка. И всё же: несмотря на молодость, а возможно – скорей всего – именно благодаря ей, он опаснее всех твоих фаворитов. Молодости несвойственно дорожить чувствами, даже если они чистойшей воды. И поэтому холодное с поминального стола вряд ли пойдёт на свадебный. Не обольщайся – только власть оставляет след в сердце мужчины, а в сердце женщины...

Он не успел закончить фразы. Открылась дверь и вошёл генерал Суджа. Один. Это был знак – Бранко мёртв или арестован. Президент тяжело поднялся и вышел из-за стола.

– Я к вашим услугам, генерал.

– Прошу прощения, господин Президент.

– Не стоит извинений, генерал. Армия вне политики. Знаете, что это означает? Лишь то, что военные мозги не способны мыслить политическими категориями. Излишества бодибилдинга атрофируют умственные способности.

– Вы арестованы, господин Президент.

– Спасибо, генерал. Я не нуждаюсь в суфлерах. Идёмте.

– Не хотите попроситься с женой?

– Да, конечно. Прощай, Никта.

Даже не посмотрел в её сторону. Зачем? Они ещё непременно увидятся, и даже слишком скоро. А то, что не посмотрел, – пусть это будет маленьким упрёком – за всё.

Их расстреляли на рассвете следующего дня. Судили по Закону от Первого Декабря 1934 года (слушание дела заканчивать в срок не более десяти дней, обвинительное заключение вручать за сутки до рассмотрения дела в суде, слушать без участия прокурора и защитника, кассационных обжалований, ходатайств о помиловании не допускать, приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно), по странной случайности не отменённому со времён тоталитаризма. Когда их поставили у кирпичной ограды, они взялись за руки. Ночная прохлада высушила пот на лице. Рука жены была холодна, как лёд. Он подумал, что писал, вероятно, для того, чтобы принять смерть с удовлетворением.

Его дочь Рамнузия осудила путчиков. Спустя год с когортой преданных солдат и гладиаторов она пересекла границу не однажды проклятого отечества и двинулась к его сердцу. Полки директории без сопротивления переходили на сторону «законной власти» (каковую бирку навесили западные средства массовой информации – подумать только! «олицетворению Судьбы»). Ей ничего не было известно об участии мужа и малолетних детей, и прошло ещё много времени, прежде чем спецбригада следователей обнаружила тайное захоронение у одного из так называемых полей аэрации. Исследование останков подтвердило предположение: это были внуки Последнего Президента и их незадачливый отец, в своё время отказавшийся бежать из страны, покотившейся к диктатуре.

Будучи предана идее справедливости, Рамнузия предложила короноваться брату-«касталийцу», но получила категорический отказ, сопровождаемый, правда, «тысячью благодарностей».

Тогда, идя навстречу пожеланиям «трудящихся Рамнунта», на трон взошла Королева.

Она взяла себе имя Немесиды. Но это не принесло ей счастья. Через три года, семь месяцев и четыре дня она была застрелена в дворцовом саду собственной охраной. Так было положено начало новой Смуте.

В иных мирах

«Пока мы спим здесь, мы бодрствуем в ином мире, и, таким образом, каждый человек – это два человека».
(Х. Л. Борхес)

Несправедливо. Руками детей. Подойдите. Не слышу. Идите сюда. Садитесь. Не надо воды. Пройдёт. Хорошо, что здесь. Я смотрю на лес. Гуляю в лесу. Скамейка шатается, не бойтесь. Не смотрите в ту сторону. Сегодня дым стелется по земле. К дождю. Спасибо. Ваш пиджак на мне хорошо сидит. Немного привыкну к вам. Только не надо брать меня за руку. И обнимать за плечи. Не забывайте, что мы на кладбище. Мне часто снились кладбища в детстве. Один раз даже будто я влюбилась на кладбище. Не смотрите туда. Ветер, спина замёрзла, ваш пиджак не спасает. Ну, хорошо. Так теплее. Мы похожи на влюблённую парочку. Расскажу. Он сам попросился. Рапорты писал. Нет больше слез. Не смотрите туда. Перед школой мы отрезали его локоны. У него были длинные, как у девочки, волосы. Вьющиеся. Он был очень красивый мальчик. Не отлетайте. Потом вы расскажете мне о своём друге. Можем договориться и вместе ходить сюда. Я тогда на счастье сожгла пряжку. И в день его рождения отрезаю клочок, сжигаю. Вдыхаю его запах, я не сумасшедшая. Несправедливо. У него и девочки не было. Когда уж его забрали, пришла из класса одна, говорит, хочу написать. Некрасивая. Дала полевою почту. Писала она ему. Мне потом передали. В коробке из-под обуви. Личные вещи. Дневничок, письма, зажигалка. Он курить начал. Ещё там что-то. Вот она и писала: со второго класса люблю. Хорошие письма. Умненькая. Похорошела в моих глазах. Не отходила от меня, утешала. Бывает ощущение: должен, это мой долг. Тут нечего возразить. Должен – отдай. Умри, но отдай. А здесь... Никогда не поверю, что у мальчишки восемнадцатилетнего появляется такое чувство. Им все должны! Не отлетайте. Знать ли, что твой сын сторел ради высшей цели... Его просто бросили в костёр, чтобы жарче горело. Самое страшное – просыпаться. Каждое утро. Вам этого не понять. Надо просыпаться – вот что самое страшное. Он умирает каждое утро. Несколько секунд между сном и бодрствованием убивают его снова и снова. Во сне я никогда не вижу его мёртвым. Чаще маленьким. Школьником. Он и успел-то побыть только им. Детский сад, ясли, это я часто вижу. Я всегда не успевала вовремя забирать его из детского сада. Папа с мамой ещё работали. И вот, представляете, теперь это мучает меня – во сне. Навязчивый сон: я опаздываю. Я только в шесть кончаю работу. А что прикажете делать? Я ничего другого не умею. Впрочем, какие мелочи... Я сама виновата. Вот так. Спрашивается: почему – он? Все его друзья-одноклассники живы здоровы. Учатся. Один женился, ребёнок. А он... Почему? Не знаете. А я знаю: сама виновата. Забрали бы и забрали. И служил бы где-нибудь на севере. Он когда шёл, на север набирали. Летний призыв, говорят. Так нет, я пошла к военному, умолила, поближе где-нибудь, чтоб навещать можно. Оказалось, там эти самые, деды зверствуют. Ну, не зверствуют, унижают в общем и всё такое. А он гордый был. Да не очень-то силен, физкультуру не любил, только читал всё. А потом вдруг и пишет: переводят на юг. Вот тебе на! Я даже не съездила ни разу, это под Тулой, часть их была. Зачем же я, думаю, хлопотала? Телеграмму. А что телеграмма?.. Поздно уже. Следующее письмо с другим номером полевым. Потом ещё несколько писем. Оттуда. Всё хорошо, прекрасная маркиза. Три месяца ему оставалось. И вот тебе. И осталась я со своими хлопотами. Виновата, не спорьте. Не уберегла сыночка. Что вы всё смотрите туда? Дым как дым. Вы-то своего не жгли? Так закопали? Ну и правильно. Так-то оно лучше. Надёжнее. И наш Митенька там лежит. Кто знает... Да нет, не верю я ни во что. Ни в бога, ни в чёрта, ни в советскую власть. Несправедливо. Руками детей. Не отлетайте. История молчит. Кто мучился, кем помыкали – молчат. Да ещё чувствуют себя в чём-то виноватыми. Виноватыми за то, что их мучили. Истязали в концлагере. Или

превращали в пушечное мясо. Не все молчат, вы правы. Но если кто и начинает говорить, рассказывать, то не потому, что очень хочется, а потому как понял: должен. Долг! Понимаете? Вот это действительно долг: рассказать, как это всё бывает. Я когда с митиными друзьями встретила, всё ждала – рассказывать начнут. Нет. Вытягивать пришлось. Прямо клещами. Один так и сказал; грязное дело, стыдно. Вот так, дорогой товарищ историк. Не надо. Вот и собачка моя проснулась. Тоська! Тоська! Иди сюда, мой хороший. Не заметили? Мы с ним, когда приходим, он скулит сначала, долго скулит, потом забивается в эту ямку и спит. Что-то во сне видит. Митеньку нашего наверно. Нет-нет, я не плачу. Он старый уже. Сейчас посчитаю. Ему было четырнадцать лет, когда мы Артошку взяли. Сидеть! Он вас не признал ещё. Обнюхаем дядю, правильно. Почешите, не укусит. Вы не поверите, в тот день, когда Митеньку убили, он целый день скулил, подвывал. Ничего, сейчас пройдёт. Я мужу говорю: плохо, что-то случилось. А он тоже сам не свой ходит. Воскресенье было. Так и просидели целый день. Страшно, из квартиры боялись выйти. У телевизора. А на следующий день – в газете. Муж говорит: всё. Он уже тогда знал. Да, надо пойти прогуляться. Пойдёмте вон в тот лесок. Я всегда хожу. Погуляю, вернусь, опять посижу. Расскажите ученикам своим. Спасибо. Нет, не промокла, вовремя поддержали. Сейчас мы этот ручеёк перейдём, а там дорожка хорошая. Тоська! Тоська! Арто! Сюда! Сюда, милый, сюда, хороший. Забыл уже горе своё. За бабочками гоняется. Коротка собачья память. Все мы до странности похожи на улиток – уходим в себя. Таков, наверно, закон природы. Мы сначала вместе сюда ходили. Придём, сядем. Скамеечка на двоих как раз. Молчим, вспоминаем, конечно. А потом, что вы думаете, спорить начинаем: кто виноват. Я говорю: я, – а он: нет, я. Заговорили, значит, заспорили. Потом разговор на что-нибудь перекидывается. И пошло-поехало. Посидеть просидели, а и не вспомнили как следует, мешали друг другу. Потом я говорю, давай поврозь ходить. Иногда случайно встречаемся тут, досадно. По существу-то, оба виноваты. Он вообще мог бы освободить парня от повинности этой глупой. А так, очень просто. Он, понимаете ли, врач. Всю эту мафию психическую лучше некуда знал. Мог бы справку сделать, вообще бы не взяли. Ему скажите. Он же вбил себе в башку, извините, «школу мужества», «пусть узнает, почём фунт лиха», ну и всякие такие прочие глупости. Как я поняла теперь, он глуповат слегка. Да поздно. А теперь ещё хлеще: судьба, говорит. Дурак. Тоська! Тоська! Иди сюда, мой хороший. Ну, попрыгай, попрыгай. Хорошо, верно, быть собакой. Наслаждаешься жизнью и не думаешь ни о прошлом, ни о будущем. Отвратительно, мерзко, грязно. Обратили внимание? – на плите одни даты: рождение, смерть. Ничего. Будто в пьяной драке убили. Нельзя было. А теперь говорят: можно. Да пошли вы, думаю... Муж говорит: надо сделать надпись, «выполняя долг» и так далее. Я говорю, нет, не надо, это ещё один обман. Кругом обман. Я детей не могу видеть. Тут увидела мальчика лет пяти, бежит в коротких штанишках, показалось Митенька мой. Зашла в первый подъезд, под лестницу забилась и в истерику. А так было. Подошла неожиданно вереница автомобилей – исполком, скорая помощь, милиция, ещё кто-то. Вот так просто – взяли и приехали. Встречайте, дорогие хозяева, смерть ваша пришла. Человек десять сразу вошли в квартиру. И началось. Известили нас. Торжественно. Я потом плохо помню, со мной врач занимался, со скорой. С мужем они решали, как хоронить. Зампред, военком. Тот самый. Узнал меня. Но зачем милиция-то? Митенька в цинковом гробу запаянном. С окошком. Когда хоронили, муж говорит: посмотри. Все смотрели. Народу-то много было. С почестями военными. Да зачем всё это? Хуже только. Я бы лучше одна. И рядом лечь. Забросали бы, я и заснула. Посмотрела. Говорили, он обгорел сильно. А лицо хорошее, чистое, будто спит. Вам этого не понять, я плохо держалась. Стыдно. Боялась, с ума сойду. Какие-то мне всё таблетки совали, я не брала их. Хотела до конца дойти. Умереть. Не умерла вот. Только злая стала. Иногда себя не узнаю. Отдайте назад мою руку. Глупо и подло. Давайте ещё посидим. Погуляли, и хватит. Арто, ложись, спи. Митеньку нашего увидь. Расскажешь мне. Чего хвостом метёшь? Дядя нравится. Хороший дядя. Найдите молоденькую, родите, вспоите, вскормите, а потом пусть его у вас заберут – и на мясо пушечное.

Я же говорю, злая. Не отлетайте. Надоела я вам. Не будете меня за руку брать. Когда меня так утешать пытаются, я сатанею. Это же всё вы, вы во всём виноваты, мужчины, мужики, извините. Это вы засели везде, распоряжаетесь. Хозяева. Надо закон издать – назад к матриархату. Я теперь Митеньку вселила в вас, кусочек его, он жить будет. Человек жив, пока живёт в памяти чьей-то. Не сердитесь на меня. Противно. Любовь противна. Окоченела я. Не смешите. Жизнь – любовь? Жизнь – это умирание. Кто-то сразу, а кто-то медленно. Как я. Вот и вся разница. Митенька мой влюблялся, мне рассказывал. Он бы рано женился, я знаю. Это темперамент. Потому он и рапорты писал. Кто любить умеет, тот всегда идёт по проволоке. Что я сделаю непременно, так это крест выбью, своими руками, долото возьму и выбью. Нельзя ни во что не верить. Это хуже смерти. Трудно выразить. Но там что-то есть. Не может умереть душа, исчезнуть просто так, не может. Вот представьте, все мы умрём одновременно, и что? Ничего не останется? Не может такого быть. Хотите выпить? Коньяк. Глотните. Помогает. Я когда тут долго сижу, сначала плачу, вспоминаю всё его маленького, вот... почему-то маленького, как будто его прямо из детского сада и взяли. Странно, да? Потом наплачусь, глотну – и вроде ещё пожить можно. А нельзя мне, завтра отеку вся, слаба стала здоровьем. Начальник говорит, плохо выглядишь. А зачем, говорю, мне хорошо выглядеть? Зачем мне теперь всё это? Хороший коньяк. На коньяк хватает, а чего ещё надо? Пережить? Вот уж три года почти, а всё никак не переживу. Путешествовать? Было время, когда любила. Ездить везде, смотреть. А теперь мне не интересно. Красоты все эти, архитектуры, не для меня всё. Я перестала чувствовать красоту. Помните? – «красота спасёт мир»? Подозреваю, что он был неопытный человек. Когда мир уже обрушился, сколько ты ни передвигаешь обломки, как их ни устраивай красиво, – ничего не выйдет. Я скажу: да, красиво, – но ничего не почувствую. Развалины они и есть развалины. Покажите мне вашу руку. Господи, как похожа! У вас митенькина рука! И ногти такие же маленькие, круглые. Только вот эта линия... Она и впрямь была у него короткая. Работа отвратительная. Сижу целый день вычерчиваю, а что, зачем всё это? Какие-то изделия, как у нас говорят, никто не знает толком какие. Оборона, чтоб ей... Пушки, снаряды, танки, ракеты, самолёты. Нет, у меня есть, пожалуй, одно желание – разогнать к чертям собачьим эту армию, штабы все эти, министерства оборонные, открыть границы и сказать: хотите воевать с нами? – воюйте, да нам-то нечем, идите так, располагайтесь, гостями будете. Вот это и есть социализм. Ганди? Скорее – Толстой. Знал, что говорил. Изберите бабу президентом, чтоб, конечно, умная была. Нет, чтоб у неё, как у меня вот... сына... нет-нет, я не плачу. Возьмите меня за руку. Обнимите меня. Сейчас глотну ещё. Когда захмелеешь чуть-чуть, голова ясная становится. Великая вещь – коньяк. Арто просыпается. Который час? Быстро время прошло. Что-то новое... Удовольствия не получите. Вы что – некрофил? Тогда сидите спокойно и слушайте. И не надо меня утешать, бесполезно. А всё же не отлетайте совсем. Арто просыпается. Скоро пойдём. Скулит. Митеньку видит, счастливый. Я сначала спать не могла, а потом, когда поняла, что во сне-то его вижу живого, что кроме как во сне-то и не увижу теперь никак, – теперь с радостью засыпаю, быстро. Только вот просыпаться плохо. Вот и Артошка наверно так. Скулит, видите? Теперь я только во сне и живу-то по-настоящему. Разговариваем с ним, обсуждаем всё. Я ему рассказываю, что тут у нас происходит, про отца, про дедушку с бабушкой. С ними он тоже, говорит, встречается, но реже. А со мной-то каждый день. Я ему про вас расскажу. Глупая собачка. Ну, просыпайся, просыпайся, скоро пойдём. Я так и не спросила вас о вашем друге. Он хороший был, это главное. В конце концов, все ведь когда-нибудь... Видите, это уже коньяк действует, я становлюсь философом. Вы пойдёте с нами? Теперь нам пора идти отсюда, нам, чтобы жить, а ему, чтобы умереть. Но что из этого лучше? Ещё по глотку? Правильно: никому не ведомо, кроме бога. Только это и утешает. Пойдёмте. Арто, пошли. И всё равно – несправедливо. Обнимите меня. Дайте руку.

...Когда кончилось действие наркоза, и, очнувшись от тяжёлого, тут же и позабытого сна, она открыла глаза, то увидела, что находится в палате, и рука её лежит на ладони лечащего

врача. Найдя и потеряв уже за ненадобностью пульс, он терпеливо ждал её не поспевающего ко времени пробуждения. Губы её шевельнулись. Он предупредил вопрос: «Девочка жива» Тогда она снова закрыла глаза, и из груди её вырвался глубокий вздох.

Рязанский конвой

Однажды играли в карты у доцента Кошкина. Не то чтобы время убивали, а так, разговорчики, коньячок... С пятницы на субботу. Обычай завели ещё в институтские годы. Позже, когда переженились, компания картёжная развалилась, но перезванивались и нежно поминали ночи, проведенные за «пулькой». А потом кто-то предложил: восстановить традицию.

Удалось. И теперь, к счастью, снова вместе – хоть и раз в неделю, а всё ж лучше, чем ничего.

Постановили не говорить о политике, а только о личном или о книгах, спектаклях, на худой конец про кино. Не так-то просто, но если постараться... Политика, мы сошлись, – мерзость. Не потому, что все политики подлецы, но все – люди, и каждый – более менее невротик и норовит свою тревогу заглушить властью и обладанием.

В тот раз обсудили сначала Поппера, полувековой давности, знаменитую, но только теперь достигшую до наших пределов «Диалектику» и согласились во мнении о совершенной непригодности достославного «диалектического метода» для серьёзной науки. Правда, поспорили немного: был ли Гегель мошенником или честно заблуждался, и как ни уклонялись, а не миновали извечного, проклятого вопроса – о судьбе России.

Саша Горфинкель, оптимист и тонкий аналитик, взялся доказывать, что российские «свинцовые мерзости», как ни крути, а «работают на прогресс» (чем немало всех удивил), и народ наш через свои страдания приобщён к трагедии человеческой истории так тесно, как и не мечталось ещё мировой культуре. Не будучи до конца понят, решил пояснить на собственном примере.

Месяц тому назад довелось ему быть на симпозиуме по функциональному анализу в городе Рязани. Съехались туда всё люди известные, докторских да академических рангов, и по сему случаю был устроен пикник под открытым небом в пригородном лесочке, обозначенном хозяевами-рязанцами как зона отдыха. По словам нашего друга, «зона» была и впрямь оборудована волейбольной площадкой, пляжем по берегу неширокой речки и, главное, большим дощатым столом, окаймлённым устойчивыми приземистыми скамьями, где могли разместиться одновременно человек тридцать. Рядом угнездилась прямо в земле жаровня для шашлыков. Заранее приготовленное мясо привезли в двух вёдрах, и пока гости резвились на прибрежном песочке и ныряли с крутого берега в холодную стремнинку, организаторы пикника нажгли берёзовых углей, нанизали замаринованную говяжью плоть на острые шомпола и принялись обжаривать её, со всей размеренной тщательностью крутя в потоках восходящего жара. Саша Горфинкель купаться поостерёгся и не загорал, потому что день уже был сентябрьский, прохладный; Саша помогал по части мяса и расставлял посуду – картонные тарелочки и гранёные стаканы. Внезапно объявилась какая-то шальная тучка и пролилась коротким, но буйным ливнем. Взятая Сашей на себя добровольная ответственность за огонь вынудила его вкуче с другими энтузиастами растянуть над жаровней байковое одеяло и тем защитить уже готовое почти блюдо от преждевременной порчи. Оно-то, разумеется, было спасено, однако ценой промокшего насквозь плаща, пиджака, и рубашки, ценой жесточайшего озноба, который только и можно было унять с помощью горячительного; а его, как водится, было в избытке, дождик придал веселья, стаканы наполнились прозрачной влагой высшего сорокаградусного качества, и когда наконец по телу разлилось блаженное тепло, оказалось, что мяса и прочей снеди уже нет, а водки много, и её допивали, закусывая чёрным хлебом или просто так. Математики у нас тоже не дураки выпить. Обрато ехали тёпленькие. Водитель автобуса и тот немного принял, но был такой профессионал, что даже лучше управлялся с баранкой; не успели оглянуться, подкатили к гостинице. Все быстренько разбежались по номерам, а Саша, прежде чем подняться в свою «одиночку», решил пройтись немного, размяться, протрезветь, но пока сие

решение осуществлял, так ослаб, что плохо стал на ногах держаться, по этой причине не был допущен администрацией в гостиничные апартаменты, а потому как проявил настойчивость и кураж, сдан сотрудникам доблестного ОМОНа и увезен на «воронке» в ближайший вытрезвитель.

Невероятно! Не пустить в оплаченный номер только по причине нетрезвости? Никто бы не поверил, если не одно обстоятельство, замеченное ранее, однако только теперь получившее разумное объяснение: уже четвёртую нашу встречу Саша не пил, не соблазнился даже греческим коньяком, и видно было, как его коробит от одного вида наших наполненных рюмок. А всё объяснилось просто. В исправительном учреждении Сашу раздели до трусов и уложили спать в большой чистой и светлой комнате, где было ещё девять кроватей, частью пустующих; но прежде человек со внешностью мясника и в белом халате смазал сашино с внутренней стороны предплечья какой-то маслянистой бесцветной жидкостью и затупленным остриём наподобие вязальной спицы процарапал кожу, оставив багровый след (он показал), ещё не заживший до сих пор. После чего друг наш быстро впал в забытие, но с восходом солнца очнулся в боевом расположении духа и, покинув ложе, принялся стучать в запертую дверь с требованием выпустить «на opravку» (чем проявил несомненное знание тюремного словаря). Вся милиция была, похоже, погружена в сон, но не имея сил больше терпеть, Саша стучал всё упрямее, громче, а ещё и сопровождал по причине бродящего в крови алкоголя свою наглую просьбу какими ни то угрозами и ссылками на «права человека». Конечно, кому это понравится? Терпение милицейских чинов лопнуло на исходе пятнадцатой минуты интеллигентского бунта, распахнулась дверь, в комнату ворвались двое в штатском, выволокли Сашку в коридор и втолкнули в чуланчик, где стоял один узкий деревянный топчан со свисающими по бокам тонкими ремешками, какие в мирной жизни используются для собачьих поводков. Его бросили ничком на отполированные, должно, многими телами крепкие доски, связали за спиной руки и притянули туловище в нескольких местах, от ног до плеч, к этому импровизированному испанскому сапогу». Дверь захлопнулась и воцарилась, как прежде, мёртвая тишина. Окон в камере не было, под потолком, над дверью светила лампочка. После часа пребывания в столь неудобной позе наш друг почувствовал, что ещё немного, и нарушенное кровообращение в кистях рук, перетянутых ремнями в запястьях, станет необратимо и дело может кончиться ампутацией (он, по общему признанию, был чересчур мнителен), а посему стал орать благим матом на весь вытрезвитель, выкрикивая только сбивчивые извинения и просьбы о помиловании,

Его помиловали. Развязали, отвели в туалет (он долго стоял там, забыв, собственно, зачем пришёл), вернули всё кроме часов – их почему-то не оказалось в «описи» – и потребовали в уплату за «услуги» тридцать тысяч.

В доказательство бедный Саша предъявил квитанцию, где была означена сумма и учреждение, о котором он поведал с затаённым, однако проскальзывающим в глазах и прорывающимся в дрожании голоса некоторым страхом.

Один из нас, внимающих этой печальной повести с глубоким интересом и состраданием (уж больно не вязалась она с обликом рассказчика, основной чертой которого была незаметность), инженер-оборонщик и человек рассудительный, подвёл черту. Он сказал, что из этой истории можно сделать тройкий вывод: во первых, приспособление надо бы назвать не «испанский», а «российский сапог», во-вторых, признать, что всякий, независимо от возраста, пола и профессии в нашей стране может подвергнуться пытке и, в-третьих, никому не мешало бы немного побыть в такой передрыге, чтобы «почувствовать вкус» нашего жестокого века. При этом он сослался ещё и на Буковского, который якобы сказал где-то, что «всякому у нас было бы полезно посидеть лет пять-семь, но не больше десяти». На это мы возразили: не обязательно (говорят на Кавказе) съесть целого барана, чтобы почувствовать вкус баранины.

Тут снова заговорил Саша Горфинкель. Оказалось, он не закончил, В тот день, сказал потерпевший, он «лечился» пивом, и уж было совсем показалось ему рана затягивается (подразумевалась, по-видимому, душевная травма), тем более что симпозиум благополучно подошёл к концу, и никто из коллег не заподозрил даже о сашинем приключении; обратные билеты в кармане, купе... но когда утром следующего дня на подъезде к Москве он выбрался в коридор и посмотрел в окно на восходящее солнце, оно привиделось ему чёрным.

Тяжелейшая депрессия продолжалась несколько дней, она была явно спровоцирована снадобьем, которое ввёл ему в кровь столь нехитрым способом милицейский эскулап. А возможно что и «пытками двадцатого века». Как бы то ни было, Саша с тех пор не может без содрогания смотреть на спиртное. А ведь как любил!...

Да. Диалектика... Все призадумались, потупились, углубившись в игру. Закон тождества... всё действительно разумно... Молчание вновь нарушил хозяин дома, доцент Кошкин:

– Друзья мои, я хочу вам рассказать свою собственную историю. Она, пожалуй, не уступит сашкиной, но если то, что мы сейчас слышали, смахивает скорее на фарс, то моя, поверьте, истинная трагедия. Давайте на время отложим карты.

Это была необычная просьба. Мы никогда не прерывали игру, даже если о чём-то спорили, игра была своеобразным «бегством от действительности», предохранительным клапаном. Однажды, раз и навсегда, мы как бы молча пришли к соглашению, что играя только и можно переживать трудные времена, но если угодно хозяину дома, то разумеется... Мы знали о его семейных неприятностях, недавно он похоронил мать. Сын воевал в Чечне. Последнее было особенно тревожно, просто ужасно (каждый ставил себя на место отца и втайне содрогался). Эта война с народом, подлая, дикая, варварская единодушно признавалась нами отрывкой канувшего в Лету, но ещё смердящего тоталитаризма. По понятным причинам она была самой запретной из всех запретных тем нашего собрания.

Мы приготовились слушать. Кошкин помолчал, как бы решая, с чего начать, а когда заговорил, то противу наших ожиданий – в голосе его не зазвучали трагические ноты, он просто начал рассказывать, как мог бы например говорить о деле хотя и любопытном, но мало его касающемся. Уверенное, твёрдой поступью шагающее повествование человека много пережившего, но и много понявшего на склоне лет. Все мы давно уже перешагнули пятидесятилетний рубеж, у всех не ладилось со здоровьем, и в этом Кошкин служил для нас своего рода отрицательным примером. С молодых ногтей его преследовали всяческие болезни, недомогания, жестокие головные боли и бог знает что ещё, но, как правило, врачи затруднялись с диагнозом и по большей части списывали сии «болячки» по ведомству некоего загадочного невроза. И то верно, хотя он и не выглядел богатырём, тем не менее предположить в нём угнездившиеся недуги на первый взгляд было совершеннейшим образом невозможно.

Но сегодня он был особенно свеж, бодр, вроде бы как даже радостен, рассказ начал с улыбкой (она случилась, мы с изумлением отметили, при слове «трагедия» – усмешка такая кривоватая), а посмотрев назад, каждый из нас легко обнаружил: со дня похорон матери Кошкин переменился неузнаваемо, не болел, ни на что не жаловался и даже упоминая иногда о воюющем сыне (тот не писал, но совсем недавно якобы передал привет через товарища, зашедшего по пути домой, в Углич, благо ехал с Савёловского вокзала, который, будучи рядом, и сейчас голубел в окнах кошкинской квартиры; товарищ этот порвал контракт и уволился из «внутренних войск»), – так вот, сказав что-то недавно по поводу «героев чеченской битвы», сказал это с такой злостью, что мы, право, немало удивились. Ведь знали же, какая боль душевная... Но, оказалось, ничего не знали.

– Цель моего рассказа не в том чтобы исповедаться. Но, кажется, я понял нечто необычайно важное и, памятуя о нашем уговоре касаться по возможности общечеловеческого, решил сообщить вам о своём открытии.

Кошкин помолчал, взглянул на Горфинкеля и добавил:

– Вот рассказал Сашок о «пытках двадцатого века», и все мы призадумались. Напомнил о славном городе Рязани, о родной милиции. Отдаю должное вашей тактичности. Но ведь не секрет для вас, что сынок мой Славик имеет непосредственное отношение и к тому, и к другому. В Чечне он подвизается в составе таю называемого «рязанского конвоя».

Кошкин налил себе коньяку, выпил и продолжал:

– Вы знаете, я говорил как-то: с детства у него была мечта стать милиционером, я виню в этом себя и частично – литературу, мне кажется это началось в тот день, когда я впервые прочёл ему вслух знаменитого «Дядю Стёпу». Смешно, правда?

Учился он хорошо, это вам тоже известно. Но, вероятно, жизненный путь был предначертан: школа милиции, ОМОН, контракт. И как апофеоз – Чечня, добровольно. Станный мальчик, хоть и мой сын. Я всё думал – откуда это? Тихий был, не дрался никогда. И вдруг... Приезжает товарищ его, тот что уволился, и рассказывает... может, я напрасно сейчас, но уж сказал «а» – надо и «б» говорить. Рассказывает: Славка мой собственноручно застрелил двоих чеченцев и выбросил трупы из вертолётa, когда переправляли в Моздок партию «подозрительных» из Грозного на «фильтрацию». Я этого парня спрашиваю: зачем вы мне рассказали? А он говорит: заберите его оттуда, он страшный человек. Я и к вам-то пришёл – посмотреть, откуда родом бывший дружок мой. Я после того случая, говорит, больше не мог с ним, и вообще...

Жене я, конечно, не сказал ничего, мол, всё хорошо, она-то гонца, по счастью, не видела. А сам не спал несколько ночей, всё пытался представить... Какой ужас! «Откуда?» – один вопрос неотступно сверлил мозг. Ведь надо ж понять! Единственный сын – убийца! Конечно, война... А всё-таки есть разница между убийством – и убийством. Да что говорить...

Кошкин помолчал, обвёл нас печальным взглядом и продолжал:

И вот, представьте себе, к этому удару буквально через несколько дней приспел второй: скоростижно умерла моя мать. Вы должно быть помните, какой она была в молодости необыкновенной красавицей. Этаким русский тип – сильная, рослая. «Коня на скаку...» и так далее... «в горящую избу...» Одним словом, некрасовский персонаж.

Мы любим рассуждать о судьбе России, продолжал Кошкин, но не кроется ли её тайна в русском характере? Характер – ведь это нечто лежащее между инстинктом и разумом. Культура с большой буквы. Результат обучения. Дух семьи. Традиции. Правила поведения. А если вспомнить известное, что характер – это судьба, то и можно продолжить: судьба – это Культура. Именно культура формирует Разум, он плод языка, морали, права и много чего другого, вступающего в конфликт с Инстинктом. Но разум не имеет обратной силы: он не может усовершенствовать Культуру. Россия неоднократно демонстрировала миру сколь хрупок этот ледок и как легко ломается, ввергая в дикость целые народы. Впрочем, я уклонился. Я хотел начать с себя и лишь потом перейти к обобщениям. Вы знаете, я родился в том печальном году, который под номером тридцать семь «украшает», в кавычках, нашу историческую драму очередной катастрофой. Согласитесь, это немаловажное обстоятельство, если к тому же принять во внимание, что отец мой был одним из руководителей знаменитого «Дальстроя». Четыре мои первых года – из них я не помню абсолютно ничего, какой-то белый лист, настоящая амнезия. Знал только, что в тридцать девятом его арестовали по чьему-то доносу: якобы он был непозволительно мягок с «врагами народа» – выискивал по лагерям инженеров, экономистов, строителей и прочих «спецов», ссылаясь на производственные нужды, и, находя, всячески старался облегчить условия их содержания. Ухитрялся даже некоторых приводить в дом и кормил, чтобы поддерживать их угасающие силы. Его судили по закону от I декабря тридцать четвёртого года, приговор привели в исполнение немедленно.

Мать говорила мне: чтобы сохранить жизнь, у неё был только один выход – добровольно пойти на фронт. Другими словами бежать. И это удалось ей: её направили в тыловые службы Первого Украинского. Здесь она познакомилась с моим будущим отчимом. Он уже тогда находился в больших чинах. Мои первые детские впечатления – война. Землянки, бомбёжки,

канонада, беженцы, сожжённые дома, дороги, усеянные трупами. В точности то, что мы сейчас видим по телевизору. Каким образом ей удалось протащить туда и меня? Кто разрешил? Не знаю.

«Контрабандой», – она сказала. Думаю, что её красота просто-напросто открывала все двери. Хотя потом выяснилось и нечто другое, о чём я ещё скажу.

На фронте мы пробыли ровно год. В марте сорок третьего они зарегистрировали брак, и отчим отправил нас в Москву, где жил до войны, и где у него была старушка мать. Его первая жена умерла в том же тридцать девятом. Десятилетняя дочка стала моей сводной сестрой, подругой детства. Долгое время я ведь лишён был детского общества. Я умел занять себя в одиночестве: помогал матери вести «дом» – на фронте у нас было всегда отдельное помещение – подметал полы, мыл посуду, даже стирал. Иногда играл со стреляными гильзами, пустыми пулёмётными лентами и прочей «военной техникой» – что-то строил, потом бомбил. . .

После войны отчим занимал большие посты. Выйдя на пенсию, продолжал работать в «оборонке». Вы его знаете, крепкий старик, в свои восемьдесят пять ещё упражняется с полуторпудовой гирей. Он любил мою мать.

И вот она умирает от скоротечного рака печени. На следующий день после поминок-девятин отчим сажает меня на кухне, ставит бутылку коньяка и рассказывает. Начинает с того что намерен выполнить просьбу покойной матери: рассказать правду. При жизни она так и не решилась на этот шаг, хотя много раз была к нему близка. Она справедливо считала, сказал отчим, что все твои – мои то есть – болезни посланы мне в наказание за её грехи. Последние годы она стала посещать церковь, иногда он видел, как она молилась. И всё же решилась только на посмертную исповедь.

Вот что отчим рассказал дальше.

Оказывается, моя красивая, нежная, любимая мамочка была сотрудницей НКВД. Её разногласия с отцом, возникшие на Колыме, касались отношения к заключённым: слишком часто отец, по её мнению, обрисовывал этих «отщепенцев» невинно пострадавшими. В этом, она считала, была скрыта двойная опасность: предательство интересов государства – «искажение государственной политики», с одной стороны, и неминуемая гибель семьи – паче чаяния кому-то придёт в голову придать таковскому поведению политическую окраску. Это второе. Вероятно, так оно и случилось бы, если бы сама она, как человек бдительный и превыше всего ставящий принципы, не опередила бы потенциальных доносчиков своим личным заявлением, характеризующим мужа «врагом народа». Ему предшествовали часто вспыхивающие семейные ссоры; одна из них и стала решающей.

Сбросив балласт в виде безумца-мужа, мать не предполагала возвыситься по службе – как-никак, брак, заключённый с потенциальным «преступником» – врагом, так сказать, пребывающем «в коконе», даже в том случае, если брачные формальности совершены за несколько лет до того, как из кокона вылутился вредитель, всё равно, близость такого рода не могла остаться без последствий: по мнению «органов», вирус мог только затаиться на время и непременно должен был проявиться рано или поздно. А посему, наградив бдительную жену орденом «Красного знамени» и выставив таким образом примером для подражания, её надлежало отправить вслед за мужем через год-полтора – если не подвергнув принудительной эвтаназии, то уж как минимум снабдить «десяткой» в концлагере.

Мать не только была красива, она отличалась также острым умом, хитростью и звериным чутьём. Она прекрасно понимала, что надо бежать. Но как? Куда? Необходимо было добиться перевода по службе. А на что мог рассчитывать скромный делопроизводитель «первого отдела», пусть даже и крупного предприятия? Занесенный дамоклов меч временами приводил её в бешенство. И тут очень кстати – прошу прощения – разразилась война.

Чем надо было поплатиться, чтобы выскользнуть из Чистилища? Этого я не знаю. Да ещё с пятилетним ребёнком на руках! К тому же, мы не просто отправились на фронт ~ мы поехали

в определённое место, к определённому человеку, Петру Ивановичу Кошкину. Тот был предупреждён письмом с Колымы, которое написал его старый друг и сотрудник по «органам». Сам же Кошкин был не меньше, не больше как одним из прокураторов СМЕРШ – контрразведки, наместником Первого Украинского.

Вот, собственно, и весь сюжет. Если не считать того обстоятельства, что на фронте мама со всем присущим ей рвением взялась за выполнение новых служебных обязанностей и уволилась в запас в чине майора.

Когда он кончил рассказывать, я задал ему вопрос. Дело в том, что на протяжении многих лет мне часто снился один и тот же сон: мать стреляет в затылок стоящего на коленях человека в шинели. И я спросил отчима: такое могло быть в действительности? Да, сказал он, могло. Жестокое было время. «Да и работа, сам понимаешь...»

Да, теперь я понимал – однако совеем не то, что он имел в виду. Жестокость ничем нельзя оправдать – ни временем, ни местом, ни обстоятельствами. Я понял, во-первых, свою собственную природу – природу тех странных болезней, которые, как вы знаете, преследовали меня всю жизнь, но так тщательно скрывали истоки, что ни один врач никогда не поставил мне более менее точного диагноза. Так вот: это был чистейшей воды невроз, питающийся моей неосознанной враждебностью к матери. Стоило ей умереть – и я полностью излечился!

И второе: я подумал, что, вероятно, Ломброзо был недалёк от истины в своей теории о наследственной склонности к преступлению. Помните это знаменитое «сын вора будет вором, сын убийцы – убийцей»? Пожалуй, он не учитывал только то, что наследственный признак передаётся иногда через поколение – рецессивным геном. И как надо быть предельно осторожным, чтобы не дать проявиться худшему.

Так я понял характер сына. И то, о чём рассказал отрекшийся от него друг, перестало быть для меня мучительной загадкой. Понимание – великая вещь!

Закончив рассказ, Кошкин сдал карты, долго изучал расклад, потом обвёл присутствующих глазами, как бы призывая в свидетели своего открытия, и заключил неопределённо:

– А вы говорите – диалектика]

Ответом ему было наше смущённое молчание. Мы примеривали Гегеля к российской действительности. И, скорее всего, каждый подумал, что нельзя сбрасывать его со счетов только потому, что непонятен. Рано ещё.

Политический процесс

«Истина – не что иное как бытие»
(Декарт)

9 мая 1996 года в РОВД на Трифоновской были доставлены двое мужчин весьма преклонного возраста – если не сказать два старика, – учинивших драку, вследствие которой гражданин Сидоров А. М. получил телесные повреждения и был госпитализирован. Избиение произошло на Самотёчном бульваре, неподалёку от Уголка Дурова, где обычно собираются пенсионеры-доминошники. Многочисленные свидетели показали, что драка вспыхнула после короткой перепалки, суть которой, однако, никто передать не мог, или не хотел. Двое набросились на одного и принялись избивать, когда же тот упал, то били ногами. Было ещё добавлено: всё свершилось так быстро, что не успели вмешаться. Известное дело – старости впору оберечь самоё себя, а не путаться в чужие разборки.

Показания снимала следователь Нечаева. Пострадавший, к счастью, не был травмирован так тяжело, чтобы не ответить на несколько вопросов. В больничной палате записали голос – заявление Сидорова, к тому времени выведенного из состояния шока и, по мнению врачей, больше напуганного, чем побитого. Плёнку прослушали в тот же день в присутствии задержанных. После чего те были отпущены под подписку о невыезде. Таким образом, следствие завершилось в рекордно короткий срок. Дело, надлежащим путём оформленное, поступило в народный суд и было принято к производству. Дата рассмотрения теперь зависела от того, как скоро истец Сидоров сможет присутствовать на заседаниях.

Следователь Нечаева отличалась сухостью в обращении с подследственными, жёсткостью в оценках и выводах – но всегда являла образцы чёткого делопроизводства и объективности и, по всему, внутренне оставалась так же тверда, не принимая чьей-либо стороны, каковой склонностью отличаются женщины-следователи, так часто дающие себя увлечь первой же правдоподобной версии. Однако на этот раз она, похоже, была несколько в своей твёрдости поколеблена: в представлении суду явно прочитывались нотки негодования; случай, по её мнению, простирался в *политику*, в *историю* – а здесь не было и не могло быть столь же незыблемых ориентиров, какие служат опорой в обыкновенной уголовщине. Некоторый излишний пафос угадывался в стиле изложения, может быть даже непонимание чего-то, *растерянность*.

Судья, принявший дело, был возраста почтенного, пенсионного, относился к поколению «тридцать четвёртого» – года в своём роде примечательного тем, что знаменовал собой начало десятилетия одного из самых драматических в истории народа. Будущий судья Кнышев свои детские годы провёл под сенью спасительного неведения, в семейном коконе, а когда научился отличать, слышать трагические, а то фальшивые ноты в победных маршах, всё самое страшное было, как думал он, уже позади. Майский салют сорок пятого помнил отчётливо, с ним как бы и вошёл в сознательную жизнь, повзрослел в одночасье. Кнышев часто думал о том, сколь многого не испытал он по сравнению с теми, кто был всего лишь на десять лет старше – превозмогал Великий Голод, участвовал в Великой Войне. Или, тем паче, прошёл сталинский Гулаг. Потому, видя на скамье подсудимых человека старше себя, немедленно прикидывал к нему «историческую мерку» – у того всё могло быть иным: обстоятельства жизни, психология, здоровье. Кнышев был хорошим судьёй.

Что ж говорить об этих двоих, тут была и война, и лагерь... Перед заседанием Кнышев ещё раз перелистал дело. Иванов, Петров, Сидоров – имена подобрались как нарочно! Несть им числа, подумал, русским страдательным фамилиям. Истец Сидоров: тридцать четвёртого года (ровесник!), неработающий пенсионер, образование высшее, занимал ответственные посты, состоял в партии. Кнышев усмехнулся: процесс обещал стать «политическим». Он хорошо знал

Нечаеву, не раз принимал от неё дела и доводил их до приговора, восхищался мужской статью её «следовательского характера», не говоря о том что ещё и любовался некоторыми сугубо женскими победительными чертами. Следователь Нечаева годилась судьё в дочери, хотя он отнюдь не чувствовал себя стариком.

К удивлению своему Кнышев увидел Нечаеву сидящей в зале, когда вышел в сопровождении секретаря и занял место за длинным столом, покрытым зелёной тяжёлой скатертью. Истец и ответчики и два свидетеля были здесь же, сидели группками в окружении то ли родственников, то ли просто любопытных – в тех никогда не было недостатка: известно, суд – первейшее зрелище, нигде не являет себя с такой очевидностью трагическая подоплёка жизни. Судья зачитал исковое заявление и приступил к опросу.

Истец был краток, ответчики не отпирались. Первым говорил Иванов. Он подтвердил, что им была произнесена фраза, которую истец в качестве аргумента обвинения (будто мало побоев) привёл в доказательство, как он выразился, *нетривиальности* дела и для вящей характеристики *хулиганов*. («Мы четыре года молились в лагере, чтобы Гитлер Сталина разгромил.») Обвиняемый Иванов, восьмидесятилетний старик с внешностью отощавшего за зиму большого медведя повторил свои слова со вкусом, как бы вслушиваясь в необычное звучание голоса, редко им используемого для произнесения таких длинных фраз и, что самое важное, с такой непререкаемой убеждённости. После чего добавил: истец Сидоров обозвал его за это *фашистом*. «За фашиста и получил,» – заключил Иванов и тяжело опустил в кресло, неуклюже вытянув перед собой негнувшуюся ногу.

Взаимные оскорбления, в сущности, к делу не относились, но фраза была интересна сама по себе, содержала нечто на первый взгляд странное, может быть, даже способное шокировать молодое ухо (полноте, усмехнулся про себя Кнышев, что там способно шокировать молодые уши!), но и в то же время мысль, пожалуй, не новую и уж во всяком случае имеющую право быть обсуждённой. Не в суде, конечно. Кнышеву вспомнилась другая фраза из Шаламова: *новость может быть только хорошей*. На Колыме не могло быть плохих новостей – даже если бы они касались военных поражений.

Кнышев поймал себя на мысли, что процесс действительно рискует стать «политическим», если продолжать вдаваться в подробности ссоры. С настоящими политическими процессами у него были свои счёты. Но что поделаешь, политика – современный рок (казал кто-то из великих лет сто назад; увы, положение не меняется, подумал судья.) Почему Гитлеру было бы не воцариться в Кремле и тем положить начало новой династии русских правителей? На этот риторический вопрос, никем вслух не произнесенный, однако словно бы повисший в неловкой паузе, которые случаются иногда в судах от шокирующих подробностей дела, – на него отреагировал сам истец-пострадавший, воскликнув с места: «Они пьяные были!» На что обвиняемые согласно закивали, как бы списывая кощунственность устного ивановского деяния, по сложившейся на Руси традиции перекладывая на коварный алкоголь. А медведеобразный Иванов прохрипел вдобавок: «Выпимши были по случаю праздника.» И добавил, секунду помедлив: «Дня Победы.»

Судья Кнышев не удержался от саркастического замечания:

– Разве для вас это праздник?

Обвиняемый Иванов, видимо, исчерпавший запас голосовых данных, снова энергично кивнул в ответ. Судья же отметил про себя с досадой, что втягивается в какой-то ненужный спор. Хотел ещё добавить, мол, «фашист» – не оскорбление, да вовремя удержался. Пьяная драка. Право, такое могло случиться только в России. Пьяная драка с историческим подтекстом. Недаром сказано: современность – это проявление Истории до седьмого колена. Ещё несколько вопросов Петрову, и можно закрывать заседание. Всё ясно.

Петров, похоже, и сейчас был пьян. Нет, не пьян, конечно, – «выпимши». На просьбу судьи рассказать о мотивах преступления (соответствующая статья УК предусматривала смяг-

чающие вину обстоятельства) Петров будто нехотя встал, опираясь на плечо соседа-подельника Иванова, с минуту попереминался, ища позицию для нетвёрдо стоящих ног, и начал рассказывать. И рассказал следующее.

Он, сказал маленький тщедушный Петров, хоть и в лагере не был и не молился, как его друг Иванов, за Гитлера, а, напротив, с этим самым фашистом воевал в танковых войсках, тем не менее присоединяется к Иванову относительно взглядов того на исторический процесс. Он не отрицает своей вины, однако просит уважаемого судью учесть факт оскорбления его Сидоровым с помощью слов «гад», «мерзавец» и «сволочь», что могут подтвердить уважаемые свидетели. (Свидетели согласно кивают.) Только теперь стало понятно ему, Петрову, какую ошибку он совершил, воюя в танковых войсках, а не перейдя на сторону генерала Власова в сорок пятом, когда тот против них стоял со своими хлопцами из Российской Освободительной Армии. И совсем даже «власовца», в каковые зачислил его Сидоров, не считает оскорблением, а, паче того, скорбит и совестью мучится до сих пор за грех, который на душу принял в том давнем сорок пятом, прости Господи. (Петров крестится.)

Судья Кнышев хотел бы прервать Петрова, но как прервёшь? Последнее слово обвиняемого – это святое. Тем временем тот вытягивает из кармана откупоренную бутылку пива и делает несколько глотков, далеко запрокинув голову, отчего смешно прыгает небритый чёрный кадык. Совсем уже наглость, но судья молчит. Все молчат. Даже истец. Следователь Нечева на последнем ряду сидит, низко опустив голову в ладони, так, что лица не видно, только две тёмные блестящие пряди падают вниз, охватывая предплечья. В конце этой вынужденной паузы Иванов протягивает, не вставая, длинную руку-корягу и отбирает у Петрова бутылку. Тот просит прощения «уважаемого суда» и продолжает рассказ. Чувствуется, что речь идёт о сокровенном. Человек должен высказаться. Важней всякого суда суд собственной совести. Судья молчит. Исповедь продолжается.

Он не станет долго рассказывать, говорит Петров, как однажды наткнулись на власовскую засаду и потеряли два танка вместе с бойцами, мир праху их (крестится), сгорев заживо, и как всех потом перебили, а одного поймали живого, молодого парнишку, лет восемнадцати, но злого, говорят, когда его особисты допрашивали, он укусил одного. Приговорили, конечно. А придумали не просто, не расстрелять, а раздавить танком. Ну и досталось, конечно, ему, Петрову. (Крестится.) А вот как. Вбили два кола на обочине и меж них растянули человека за руки, за ноги, в струну. (Петров на секунду умолкает, тянется к бутылке у Иванова в руке, но тот отстраняется.) Ладно, привязали и привязали. А никто из роты не хочет, давить не хочет. Смершевец разозлился, говорит командиру – под трибунал пойдёшь. Ну и тот приказал... (Крестится.) Парень лежал на спине и смотрел в небо. А колонна шла мимо. Петров не помнит уже, сколько раз умирал приговорённый до него, Петрова, пока тот не отвернул чуть вправо и прошёлся гусеницей по мягкому. (Крестится.)

Для судьи первейшее дело – пресекать ненужные, не относящиеся к делу излишества. Но Кнышев молчит. Политический процесс – дело тонкое, он-то знает это лучше других. Иногда ведь такого наговорят на себя!

Петрову удаётся всё-таки отобрать у подельника недопитую бутылку и сделать ещё несколько больших глотков.

Теперь-то он окончательно уверился, продолжает Петров, что мир устроен по-божески, а если его, Петрова, спросят – почему, то он скажет: потому что в мире существует возмездие. И оно настигло его на старости лет. Он просит уважаемый суд дать ему срок заключения по всей строгости закона. (Умолкает.)

Здесь чего-то нехватало, был какой-то провал, отсутствие логики, так что даже вместо того чтобы перейти к заключительной части и объявить перерыв и уйти в совещательную комнату, судья вопреки самому себе задаёт вопрос:

– О каком возмездии вы говорите? Если мы и подвергнем вас наказанию – а мы это непременно сделаем, – то не за ваши фронтовые подвиги, в кавычках, а за хулиганство. Тогда вы выполняли приказ командира, за то спора нет.

В знак отрицания последнего старик Петров энергично трясёт головой. Это движение длится так долго, что, похоже, перешло в тик, унять который сможет лишь некое действие, предпринятое для того с целью. Например, грозный окрик судьи.

Но судья молчит. Он задал вопрос и ждёт ответа. Кажется, он спросил что-то о «возмездии».

Наконец обвиняемый успокаивается, пляску святого Витта пересиливает решимость договорить сегодня всё до конца. Слабое воздействие этанола привело в норму расшатанные нервы, приподняло упавший дух. В зальчике снова начинает разноситься старческий дребезжащий тенорок.

Он, говорит Петров, не хотел сначала – не хотел оправдываться, потому что настоящее, божеское возмездие, божья кара, его настигло уже, но могут подумать, что он ищет снисхождения за ним, свершившимся, потому что оно и впрямь жестоко. Нет, он не ищет. Готов отвечать и просит судить по всей строгости.

Далее Петров рассказывает как неплохо в общем-то сложилась его послевоенная жизнь. Вернулся в свою Марьину Рошу, женился, родилась дочь. Работал наладчиком на «Станколите». Появились внуки – девочка, затем мальчик. Получили новую квартиру. Не богатели, но и не бедствовали. Дочка институт закончила, ещё до того, как вышла замуж. (В этом месте рассказа Кнышев подумал: стихийным бедствиям свойственно обрушиваться на наши головы, когда мы наверху блаженства. К месту подумал.) А дальше, продолжал Петров, пошло всё наперекосяк. В шестьдесят с небольшим умерла от рака жена, дочка разошлась с мужем, а внука забрали в армию. Это бы всё ничего, дело житейское, он хоть и любил жену, и горевал, но держался, не пил почти, хотя друзья и все пьющие. (Поворачивается, смотрит на подельника Иванова сверху вниз, тот сидит сгорбившись, вобрав голову в плечи.) Дочка другого найдёт, молодая ещё, красивая. Внучка и вовсе артистка будет, в цирковом училище, в Измайлове учится. А что армия? Послужит внук и вернётся, думал, парень послужить должен, говорят ведь, «школа жизни». (Судья Кнышев почувствовал, как по спине у него пробежал холодок – он уже *знал*.) А внука отправили в Чечню и там убили. (Последнюю фразу старик произносит прерывающимся голосом, достаёт платок, громко сморкается.)

Теперь судья Кнышев окончательно понял свою ошибку. А может и не ошибку? Процесс-то оказал себя воистину политическим.

– Обвиняемый, вы закончили? – торопит судья.

Ещё немного и он закончит, не сразу откликается Петров. В сущности, он уже всё сказал, остались подробности, с которыми он хотел бы ознакомить уважаемый суд. *Он сказал им* (говорит Петров, по всему, не желая, не имея сил выговорить имя этого человека), *что они победили*. Наглая ложь, утверждает Петров. (И здесь эта звучащая речь приобретает почти неправдоподобную, по сравнению с обликом говорящего и всем предыдущим, правильность, едва ли не вдохновенность, возможно, питаемую ненавистью.) Наглая ложь, повторяет он, потому что победить в этой войне нельзя. Нельзя победить народ, взявший оружие, даже если стреляет лишь каждый десятый, потому что каждый двадцатый – ребёнок, и он будет стрелять всю жизнь, пока его не застрелят, как Хаджи Мурата. (Читайте классиков, сказал сам себе судья Кнышев в этом месте нечаянной проповеди.)

Внука, продолжает Петров, забрали весной девяносто третьего и сделали десантником. Он служил в Рязани. Они с дочкой часто ему звонили, вызывали на переговорную. Последний раз говорили двадцать восьмого ноября девяносто четвёртого. А двадцать девятого самолётами полк перебросили в Чечню. Первого января он штурмовал Грозный. Если это можно так назвать. Он, Петров, штурмовал Берлин и знает, как это делается. Сначала надо уничтожить

город. Потому что город не уничтоженный стреляет из каждого окна. Это надо было бы знать отцам-командирам. Но откуда им знать? Они полагают, верно, что многая знания – многая печали. А зачем печалиться? Ведь не их сыновья и внуки идут в бой за неправоё дело. И гибнут. Как его внук. Из двенадцати экипажа БМД в живых двое. За что? За ради чего?

Риторический вопрос требует паузы. И она длится ненарушимая. Так долго, что всем становится немного не по себе, в особенности судьё Кнышеву, пустившему на самотёк уголовный процесс, обернув его «политическим». Но судья молчит. У него свои счёты с русскими политическими процессами. Воцарившуюся тишину нарушает глухой удар – это старик Иванов уронил на пол пустую бутылку. Она прокатывается под креслами переднего – пустого – ряда и замирает перед судьейским столом. Но судья продолжает молчать,

Когда вновь раздаётся голос Петрова, кажется, что все с облегчением вздыхают. Потворствуемый странным судьёй, Петров переходит к последней части своего драматического повествования – *подробностям*. Он рассказывает, как искал тело погибшего внука. По сведениям военных тот числился пропавшим без вести.

Его дочь, говорит Петров, не поехала с ним и правильно сделала. Он прошёл войну, видел много смертей, но того, что увидел там, в Ростове, не приведи бог никому. Трупы свозили на территорию госпиталя и раскладывали в вагонах и палатках, как товар на продажу. Там их было не меньше тысячи. Многих уже было не опознать. Обглоданные собаками, разорванные на куски, обгоревшие. И сквозь эту страшную живодёрню шли матери и отцы в надежде найти своего сына по одним только им известным приметам – родинкам, ногтям, зубам, шрамикам, полученным по неосторожности в детстве. Он нашёл внука в самой дальней палатке, на бирке была другая фамилия. Слава Богу, его легко было узнать.

И вот теперь он, Петров, хочет спросить уважаемого судью, много ли им было резону побеждать в той давней войне и не правильной было бы сразу перейти на сторону генерала Власова и побороться за освобождение России от коммунистов, до сих пор по невежеству и садистским наклонностям вгоняющим в гроб поколение за поколением? Он, Петров, конечно, и не надеется получить ответ. Он его и сам знает. И знает, за что покарал его бог. Он покарал его за того раздавленного им парня-власовца. (Умолкает, садится.)

Судья Кнышев готов подвести итог, но старик Петров снова вскакивает с места и просит добавить «два слова». Не дожидаясь согласия судьи, сразу же начинает говорить, странным образом впадая опять в косноязычие.

– Гражданин судья, я маленько зашибать начал, после как внука похоронили, а что мне теперь – одна радость, на Руси испокон веку с горя пьют-заливают. Не оправдание, конечно, только этого Сидорова мы побили по пьяному делу, прошу учесть, а с пьяного какой спрос? Дочка мне говорит не пей, козлёночком станешь, а я всё равно пью и буду пить, имею право, пенсию получаю, иногда подработаю где, по сантехнике. Я, когда пьяный, плохой бываю, буйный, всё мне кажется кругом филера подглядывают, а этот Сидоров – точно бывший осведомитель. Друга вот моего фашистом назвал (кладёт руку на плечо Иванова, тот горестно кивает), а кто фашист? Кто продержал его в заключении не за что, не про что семнадцать лет, в лагере, ноги вот лишил, отморозив? Кто? Вот они фашисты и есть. А Гитлер был не дурак, умный был, красную заразу за версту чуял. Да вот маленько не рассчитал, не учёл морозов. Мне дочка говорит – не пей, посажу, донял будто я их, мы живём вместе, внука ещё. Я знаю, она хочет мужа нового привести, дочка то есть, имеет право, а что я – мешаю? У меня комната своя, запирается, я в их дела не лезу как внука похоронили, питаюсь отдельно. Так теперь она замыслила комнату отобрать, вот и состряпала дельце. А, дочка, прав я?

К удивлению присутствующих, Петров адресует вопрос не к кому как к следователю Нечаевой, сидящей одиноко в дальнем углу зальчика. Все взоры устремляются теперь к ней; судья Кнышев готов вмешаться, ему не нужны больше ничьи свидетельства, следствие окончено, суду всё ясно.

Но судья молчит.

Следователь Нечаева, полтора года назад похоронившая сына и после этого продолжившая жить и затеявшая дело против собственного отца (хотя наверняка могла бы замять, подумал Кнышев – и не только он один), и даже не отказавшаяся от устройства своих любовных делишек (подумали многие) – эта женщина во мгновение стала для всех присутствующих острой, притягательной загадкой, каждый ставил себя на ее место, пытался удержаться на нём, но неизменно соскальзывал в пустоту непредставимого, невчувствуемого – и отказывался от попытки. Отгадка же оказалась проста и понятна. Следователь Нечаева, она же осиротевшая мать и дочь-предательница, попросила слова, вышла к судейскому столу и сказала следующее.

Она подтверждает всё, что было сказано обвиняемым Петровым, он же её родной отец, он же дед, потерявший внука, не подтверждает лишь одного – будто зарится на комнату. Она не нужна ей, только покой нужен, чтобы – не забыть, нет – *простить*, и любовь – чтобы *жить*. И нет здесь никаких загадок. Тяжело потерять сына, да, тяжело, так тяжело, что и не сказать словами. Но когда горе становится предлогом для беспробудного пьянства, как это случилось у них в семье, то горе не изживается, время не возвращает к жизни, а умножает печаль. Пусть думают о ней, что хотят, но она не собирается замазывать ничьей вины, даже если та легла на её собственного отца-пьяницу, напротив, может быть то, что случилось, заставит его понять, осознать тупик, в котором он оказался. Она не хотела бы лишить его свободы, он и без того потерял слишком многое, но меры принудительного лечения здесь просто необходимы.

И уж если на то пошло, сказала дальше следователь Нечаева, и процесс этот уголовный пропитался политическим *тлетворным душком*, то и она добавит. (Судья Кнышев даже хмыкнул беззвучно от этой уместной, должен признать он был, инвективы.) И вот что скажет: она была категорически против, когда сын однажды перед призывом спросил её мнение о воздушно-десантных войсках – он хотел быть только десантником. Она и сейчас не преминет заявить: ВДВ – это скопище профессиональных убийц, её мутит от всех этих штучек с разбиванием лбами кирпичей и членовредительством, а камуфляж вызывает зубную боль. Однако сын её не послушал. Тогда она взяла с него клятву: если случится чей-то безумный приказ «на усмирение непокорных», он откажется его выполнить, нарушит присягу. Ибо есть только одна истинная присяга – перед своей совестью. То есть – перед Богом. Но сын её не послушал и на этот раз, нарушил клятву, из страха перед законом или из предательского чувства солидарности, – она не знает. Он вошёл вместе с другими рейнджерами в чрево живого города, чтобы взорвать его изнутри, но город оказался сильней.

Она, сказала в заключение следователь Нечаева, не прокляла сына, потому что всего лишь слабая женщина. Но когда отец – дед – поехал его искать, она не последовала за ним. Она сочла и продолжает считать более справедливым, если бы её сын остался лежать там, в одной из братских могил, вместе с другими неопознанными, тогда она, мать, вместе со всеми осиротевшими матерями, ежегодно бы отправлялась туда, чтобы поклониться сыновнему гробу и покаяться в невольном грехе, и попросить прощения. Могут спросить: в чём он – этот материнский грех, где вина? Разве мать отвечает за грехи детей своих? (*Сын за отца не отвечает*, – припомнилось Кнышеву, судье. Не к месту припомнилось.) Разве женщина не сопричастна всему живому на земле, когда вынашивает и рождает ребёнка? Разве не поклонялись древние Великой Матери? Всё так. Но если наша хваленая Культура – с большой буквы, хотя того не заслуживает – приносит в жертву детей своих в пароксизме неудержимой некрофилии, если она такова, если мальчики, даже не став мужчинами, прежде научаются убивать, то мы не имеем права рожать детей. Не имеем права любить. Любовь, таким образом, в обиталище государства-монстра, на тонком льду псевдокультуры – такая любовь – грех.

Когда бы усилиями нашей раскаявшейся Науки, добавила ещё следователь Нечаева, женщины научились бы рожать только женщин, и количество мужчин сократилось бы до предела, за которым войны стали бы невозможны, потому что некому их вести, – вот тогда в лоне

возрождённого матриархата мы бы вновь обрели право на любовь неподконтрольную, свободную от ограничений. Но никак не раньше. Она не отреклась от сына, в чём упрекает её отец, она только хотела быть в единении с матерями, чьи сыновья остались лежать в земле, которая не хотела им отдаться. Но отец вправе был поступить по-своему, он поехал туда один и нашёл тело их мальчика, и привёз его, и ей, матери, пришлось пройти через позор погребения.

– Ты не мать! – визгливо выкрикнул обвиняемый Петров в этом месте прокурорской речи, адресованной – кому? Самому господу богу, подумал судья Кнышев, пустивший на самотёк уголовный процесс. А старик Иванов потянулся огромной лапой и запечатал рот подельника своего Петрова – во избежание неприличных слов, могущих сорваться у того в приступе гнева. Судья же поймал себя на том, что ждёт продолжения, – не потому, что оттягивал вынесение приговора, а лишь по той простой причине, что самым неприличным образом, открыто любовался Нечаевой, как любят в театре трагическими актрисами. Суд – всегда театр. Только смерть разгуливает на его подмостках с настоящей, неигрушечной косой. Красота же, как и в жизни, неизреченна.

Но продолжения не последовало, Кнышев закрыл заседание, и суд удалился в совещательную комнату. стакан крепкого чая без сахара вернул судье ощущение реальности. Подкрепленное уголовным кодексом, оно легко укладывало приговор в раму известной статьи о хулиганстве, но... процесс-то был *политическим*! А с политическими процессами у судьи были свои счёты. Бог миловал, не пришлось никого судить за «распространение заведомо лживых измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй». (Язык этой формулы ему всегда импонировал благородством своих корней, особенно словечко «заведомо» – ответчик был заведомо осуждён. Вот чем отличается политический процесс от уголовного: ты заведомо виновен и пощады не жди. Никаких адвокатов, никаких кассаций, дело закончить в десятидневный срок, приговор привести в исполнение немедленно.) Судья Кнышев был потомственным юристом, его отец, прокурор М., сподвижник Вышинского, сочинил едва ли не самый незаконный в истории «Закон от 1 декабря 1934 года». Кнышева не то чтобы мучила совесть – сын, как известно, за отца не отвечает, – это и не было любопытство в общепринятом понимании; здесь таилась для него острейшая психологическая загадка: что чувствуешь, вынося безвинному смертный приговор? Он хорошо помнил отца, хотя тот умер, едва перешагнув шестьдесят, помнил большие мягкие руки, негромкий голос, красивые, опущенные длинными ресницами глаза; отец никогда не наказывал его в детстве, даже за проступки серьёзные, как, например, по неосторожности разбитое блюдо из дорогого сервиза, едва не устроенный пожар в их новой квартире, куда они переехали из старого марьинорощинского дома весной сорок первого. Кнышев мог бы припомнить многое в подтверждение тихой незлобивости отца, весёлого нрава, деловитой заботы о семье. Привязанности к отцу Кнышев был во многом обязан выбором поприща. Немаловажным стало и то, что профессор М. преподавал после войны в Юридическом институте. Будущий судья, впрочем, не нуждался в протекции, окончил школу с золотой медалью и был принят без экзаменов. Лекции по истории права читал отец. Кнышев помнил, как ломилась аудитория от студенческой братии, жаждущей услышать маститого учёного. И тот не обманывал ожиданий, восхищая глубиной эрудиции и ораторским недюжинным мастерством. Сталинский стипендиат М., любящий сын, гордость и надежда отца, впервые заподозрил неладное после ошеломительных разоблачений 56-го года. Незыблемая, казалось, профессорская карьера внезапно дала трещину под ударом жестокого недуга – мозгового кровоизлияния, а затем и вовсе сломалась: едва оправившись от болезни, отец оставил кафедру и ушёл на пенсию в возрасте шестидесяти двух лет. Через год он умер от повторного удара. Студент М. был на четвёртом курсе.

По институту ползли слухи. Пришёл новый ректор. Ещё несколько профессоров подали в отставку. Один из них, старый друг семьи М., незадолго до своего ухода однажды встретив будущего юриста в коридоре, отвёл его в сторону и дал совет, до глубины души потряс-

ший впечатлительного юношу: опальный покровитель сказал тогда, что если сын его друга всё-таки намерен сделать юридическую карьеру, то ему лучше было бы сменить фамилию – взять, например, фамилию матери. И попросил не задавать вопросов. Ввиду шока реципиент вопросов не задавал, но совету последовал, будучи по природе человеком благоразумным и в одночасье уверовав в серьёзность сложившейся ситуации. Мать, по всему, ничуть не была удивлена желанием сына, не возражала, и вскоре странная перемена благополучно свершилась.

Она и впрямь была странной, потому что предстояло ещё многое выяснить, хотя в общем-то было ясно: за громкими именами, берущими начало в тридцатых годах, тянется тёмный шлейф. Кнышев предпринял «частное расследование» в юридических архивах и вскоре установил с ужасающей непреложностью – да, это он, *отец*, главный прокурор Москвы М. явился автором пресловутого закона «от 1-го декабря».

Что может испытать молодой человек, на которого низливается внезапно река крови, отверстая рукой, чья нежность живёт в памяти вместе с чувством успокоения, защищённости и незыблемой правоты? Слабого она снесёт в пустоту неверия, или сгустится болезненным душевным мраком, или побудит замаливать смертный грех до конца оставшихся дней. Сильный же постарается понять. Ибо от понимания до прощения всего один небольшой, хотя и трудный шаг. Не найдя сил сразу отказаться от служения распутной Фемиде, молодой Кнышев дал себе клятву всегда и везде отличать подлинное лицо богини от масок её изобретательных двойников. Это была непростая задача. Адвокат, прокурор, судья, на всех ступеньках карьеры Кнышев неизменно пользовался репутацией человека честного, бескомпромиссного, не идущего в поводу конъюнктуры. Его послужной список был отмечен несколькими громкими уголовными делами, но ни разу он не дал себя втянуть в процесс политический.

Он начал диктовать приговор. Секретарь, немногословная дама средних лет, молниеносно прошла по «шапке» и замерла в ожидании. (Вылитая Фемида, неудачно пошутил он однажды в её присутствии, чем навлёк на себя явную укоризну. Работники судов в силу специфики труда часто утрачивают чувство юмора. Кажется, он добавил что-то совсем уж неудобоваримое касательно повязки на глазах, которая бы сделала сходство ещё большим. Такое нельзя говорить даме, систематически вопрошающей о состоянии своих отретушированных глаз перед карманным зеркальцем. Кнышев понял свою ошибку, но поздно – несколько лет совместной работы не смогли растопить ледок, схватившийся в озерце женского тщеславия. Не исключено, что столь им ценимое немногословие помощницы было творением его собственных рук.) Неписанный кодекс чести исключал даже намёк на какие-либо советы, подсказки или комментарии секретаря при вынесении приговора. Грохот электрической пишущей машинки отдался болью в ушах; Кнышев давно мечтал о компьютере, но можно ли требовать такого подарка от русской юстиции? Он было начал диктовать, однако что-то мешало – недодуманное, незримое, – так мешает дышать невидимо растворённый в воздухе угар, подспудно тлеющая болезнь, ощущение смертельной опасности. Внезапно разболелась голова. Невротическая реакция на затруднение, подумал Кнышев, бессознательное стремление уйти от решения проблемы. С ним это бывало в особо трудных случаях, когда вина подсудимого не казалась доказанной с абсолютностью. Но ведь сегодня-то всё ясно, не стоит выеденного яйца. Если бы не «аранжировка», то и не о чем думать. Ему нравился этот адлеровский термин. Как часто преступление при ближайшем анализе оказывалось аранжировкой одной из тем глубинной психологии одиночества, страха, секса. Сегодняшний процесс был аранжирован политикой.

Он попросил секретаршу вставить чистый лист и продиктовал заявление об уходе. Мотивировками были выдвинуты пенсионный возраст и здоровье. Здесь он не кривил душой – чем как не пошатнувшимся здоровьем объяснялись участвовавшие головные боли? После каждого разбирательства он едва добирался до постели. За последний год – восемь больничных листов, пять отложенных по вине его нездоровья заседаний. Не слишком ли много?

Секретарша хранила каменное молчание. Он подписал заявление и вернул ей с просьбой передать по инстанции. Руководство, знал, давно ждёт от него подобного шага. Но эта далеко зашедшая сдержанность помощницы неприятно кольнула. Неприязнь неприязню, а ведь можно было как-то и выразить своё отношение. Впрочем, это могло быть формой протеста. Только – против чего? Его ли намерения уйти в отставку или предвидимого решения по делу? Знает ли она о его юридической родословной? Ему всегда казалось, будто вокруг перешёптываются по поводу его «плохой наследственности».

Он подошёл к окну и посмотрел сквозь мутные, давно не мытые стёкла вниз, на столпившиеся под старыми тополями покинутые, ждущие сноса деревянные домишки времён старых мещанских улиц. Груда почерневшего от времени дерева пряталась в изумрудной повети молодой листвы. Он попытался открыть окно, чтобы впустить в душное помещение толику застоявшейся под деревьями ночной прохлады. Засохшая масляная краска, вероятно, вкупе с неизбывной судейской рутинной воспротивилась такой неожиданной агрессии. Кнышев подёргал раму и отступился. Головная боль усилилась. Он подумал, что эта июньская, пришедшая не ко времени жара губительна для его сердца, изношенного грузом ответственности и разочарований. Судьи кончают тем, что начинают презирать весь род человеческий. Печальный конец, иногда это презрение перетекает в самую настоящую ненависть. Тогда рождаются такие законы, как «от Первого декабря». Может быть, в этом и весь секрет? Начинаешь судить и постепенно впадаешь в ярость. И далее судишь не потому, что ненавидишь пороки, а привыкаешь ненавидеть, потому что судишь. Не судите да не возненавидите – вот как должно бы сказаться в евангелии от бихевиоризма. Если хочешь быть здоров – закаляйся. Позабудь про докторов, водой холодной обливайся. Откуда это? Холодной воды. Надо выпить холодной воды. А лучше бы холодного пива. Но холодильник пуст. Его попросту нет здесь. Советская юстиция не может себе позволить такую роскошь. Голова как перегретый паровой котёл. Начинаем. Попрошу занять своё место. Вы уже на месте? Тогда начнём. Шапку. И как вам это понравилось? – два плебея без роду без племени ратуют за свержение советской власти. Работник МВД призывает к неисполнению долга, к неповиновению! Если хочешь быть здоров – закаляйся. А что это там звенит? Колокольчик председателя? Нет, моя милая, это звенит, сказано поэтом, коса смерти. А другой почему-то назвал это орудие – оружие – возмездия, чем бы вы думали? – серпом! Есть жнец, смертью зовётся он... помните? Нет. Ничего вы не помните. Где вы учились, кто вас воспитывал? А помните, был такой романс: «Вы всё, конечно, помните...»? Ну вот, наконец-то, хоть это... Итак, начнём. Пишущая машинка – вот наше оружие возмездия, наш ядерный чемоданчик. Нажимаем на кнопки – и мир летит в тартарары. Туда ему и дорога. Но прежде отправим в ад этих двоих, которые там, в коридоре, ждут воцарения Гитлера в Кремле. Какая наглость! Заявить о таком во всеуслышание! И как небо не обрушилось на их головы? *Ну ничего, я им создам уют, они квартиры живо обменяют. Из рая в рай обратной нет дороги. Нож гильотины падает свистя. Помните? Вы всё, конечно, помните...*

К тому что происходило сейчас на её глазах, она давно была готова. На её памяти это был второй приступ, но тогда судья Кнышев ещё сохранял ясность мысли. Если бы не нанесенное ей оскорбление, о котором, вероятно, тут же забыл, он вполне владел собой и, по всему, самостоятельно справился с недугом, теперь снова овладевавшим его сознанием. Он диктовал:

«... в соответствии со статьёй... приговорить к высшей мере наказания – расстрелу».

Она вынула напечатанный лист и подала ему на подпись. Он подписал не читая. Так, должно быть, подписывали в те годы. Заслуженный работник органов, секретарь суда Севастьянова сняла телефонную трубку и набрала номер скорой психиатрической помощи. Она была переведена в этот заштатный райсуд из архива КГБ, откуда уволилась в чине майора при сокращении штатов; она многое знала и многое умела. Разумеется, знала она и биографию своего патрона – его досье было чрезвычайно интересным. Она привыкла ничему не удивляться. Да и что удивительного? – кто знает, какие болезни произрастают в детской спальне,

за дверью которой шепчутся твои перепуганные родители или, тем паче, мать отмывает кровавые пятна на одежде палача-отца. Секретарь суда Севастьянова приблизилась к судье Кнышеву – тот сидел на стуле у замурованного окна, уронив на грудь голову с венчиком седых волос вокруг пожелтевшей лысины с пятнами липофусцина, – взяла его за руку и легко потянула вверх. Надо было огласить приговор, чтобы отрезать обратный путь канительной Фемиде. Кнышев покорно встал и последовал за помощницей в зал заседаний. Таблетка треоксазина, которую она дала ему вместе со стаканом воды перед тем как он расписался на документе, должна была оказать короткое действие в ближайшие пятнадцать минут – блокировать углубляющуюся прострацию. За это время он прочитает текст приговора. Секретарь суда Севастьянова прошла в молодости хорошую выучку.

Все были на местах – подсудимые, свидетели, истец. Не было только следователя Нечаевой, бывшей сослуживицы, старой подруги, зачем-то затеявшей эту никчёмную тяжбу с собственным отцом. Секретарь суда Севастьянова не одобряла её. Но что поделаешь, гражданская война разводит не только друзей. И брат идёт на брата. И все против всех.

Когда судья Кнышев, запинаясь, дочитал приговор неузнаваемо потускневшим, металлическим голосом, в комнату вошли санитары.

Обвиняемые приговаривались к символическому штрафу в один рубль каждый.

Неудовлетворённый истец подал кассационную жалобу в городской суд.

Наручники

«– А я, – и голос его был спокоен и нетороплив, – хотел бы быть обрубком. Человеческим обрубком, понимаете, без рук, без ног. Тогда я бы нашел в себе силу плюнуть им в рожу за все, что они делают с нами».
(В. Шаламов, «Надгробное слово»)

Ему снилась женщина.

Пробуждение было радостным, сладким.

Он обнимал её. И уже выйдя из сна и погружаясь в пучину реальной тоски и страха, и мучительного бессилия, он чувствовал под пальцами бархатистую гладь её кожи и всё повторял и повторял движение – пробегал, едва касаясь ладонью, от ключиц через двухолмие груди, живот, замирал на мгновение у врат, но боясь войти, переваливал через крутизну бедра и успокаивался в расщелине ягодиц.

Просыпался рано. Шёл в туалет, возвращался, ступая как можно тише, снова ложился. Не хотел до света будить мать с отцом, спавших в проходной комнате. Неуклюже зарывался в одеяло в надежде вернуться в сон, к женщине, которую любил не видя, но так явственно осязал, что мог бы вылепить, вероятно, точную копию, если б это могло придти ему в голову. Но лица её он никогда не видел. Во сне мы всегда видим только суть, а суть женщины – её тело. Это была незнакомая и оттого ещё более притягательная возлюбленная.

Светало. Милосердная ночь сдавала позиции нехотя, отступала крохотными шажками: серебрила зеркало, ловящее первый свет, потом очерчивала знакомые силуэты – шкаф, письменный стол, книжные полки, и когда уже не в силах дольше тянуть свою колыбельную, падала за окно, подгоняемая жестокими ударами солнца.

Входила мать – помочь одеться. Потом они завтракали на кухне, все вместе, как это старались делать всегда, сколько он помнил себя, с детства. Отец говорил: семья укрепляется совместными трапезами. У них была крепкая семья. Сестра, за время его отсутствия перебежавшая из подростка в девичество, стала совсем другой, он не узнавал в ней ту, которая с утра до вечера щебетала о своём, то и дело заливаясь беспричинным смехом – от счастья быть. За два года она переменилась неузнаваемо, всё больше молчала, на вопросы о школе, об отметках отзывалась нехотя, преодолевая видимое отвращение к тому, чем заставляли её там заниматься. Он с удивлением думал, что в его время, не будь этой ненавистной «общественной работы», пионерских, потом комсомольских «дел», то школьная жизнь была бы даже приятной. Теперь это осталось далёким затерянным миром. Только его старые учебники, заботливо сохранённые отцом, иногда пробуждались упрямой в них частицей души, и он будто проваливался в то прошлое, которое странным образом подготавливало его теперешнюю жизнь.

Он был примерным учеником. Не выдавался чем-то в завладении азбучными школьными истинами, не старался отличиться в олимпиадах, но математику любил и занимался ею по влечению сердца, а не с целью единственно прагматической. Он бы и поступил в институт, и всё бы пошло иными путями, не окажись в тайнике внезапно распрявившегося, до боли стиснувшего желания – стать не просто студентом, но – «физтеховец». Мотался в Долгопрудный, сдавал документы, потом экзамены, с первого захода не проскочил, от этого ещё больше разгорелся и выстроил безукоризненный, безотказный, посчитали все, план «повторного приступа». План истинно русский, полувоенный, стоящий на очевидности: самый короткий путь к цели – не самый прямой. Одним словом, надо было послужить в армии, чтобы занять льготы при поступлении. Родители, впрочем, отговаривали, приводили устрашающие примеры, мать даже плакала, но сломить упрямство – дурацкое, теперь он обычно припечатывал, – было им не под силу. Ещё говорят ведь: не так страшен чёрт, как его малюют.

Теперь он сказал бы: чёрт непредставимо ужаснее, чем о нём принято думать. Сначала он загоняет тебя в казарму и начинает издеваться, используя для того арсенал инквизиции. Одновременно же учит убивать всеми возможными способами, придуманными ко времени твоего прихода. Но главное – тебя умерщвляют по частям, отщипывая кусочками от свободы, как бы погружая в абсолютную несвободу-смерть. И даже если ты вернулся из ада не искалеченным физически, душевные раны остаются на всю жизнь – реальность укладывается в памяти по преимуществу вещами, рождающими при касании отвращение, тошноту, боль. Находишь в кладовке чьи-то старые кирзовые сапоги и впадаешь в истерику, требуя немедленно спустить их в мусоропровод, сжечь, отнести в бедняцкий приёмник-распределитель. При виде солдатского камуфляжа пересыхает во рту и начинает звенеть в ушах. Лес оборачивается угрожающей «зелёнкой», в поле отмечаешь «укрытия», в небе над головой подозреваешь неведомую опасность, на тропах – мины. Древние – детские – пласты обесцвечиваются, размываются сочащейся сверху зловонной жижей, съедаются тлением. Последствия такой «геологической катастрофы», без преувеличения, смертоносны.

Нет, если речь о психике, то с этим у него было всё в порядке. Лишь иногда, под влиянием каких-то, возможно, атмосферных, погодных перемен он впадал в состояние не то чтобы страдательное, но – странное: вдруг терялась ориентация, и, застывая в недоумении, он спрашивал самого себя: кто я? где я? Но ведь это может произойти с каждым, независимо от обстоятельств, и если верить рассказам, случается не так уж редко. Особенно в последнее время. Особенно с теми, кто пережил потрясение, или вынужден был покинуть родные края, лишился дома, семьи, работы.

У него был дом, и была семья, а потрясение, выпавшее на долю, оказалось что ни на есть распространённым, в чём легко можно удостовериться, пройдясь по людным центральным улицам, по станциям метро. Калек и нищие выплеснулись из коммуналок на площади, пользуясь милостью государства – правом открыто заявить о себе протянутой рукой. Отец рассказывал, как после той, «большой войны» так же «отпустили вожжи», но потом спохватились и вывели из города всех калек-попрошак на островок под названием Валаам в каких-то северных водах. Тогда вышел на этот счет специальный «указ». Он думает, сказал отец, что и на этот раз сочинят что-нибудь вроде того: не травмировать чувствительных обывателей картинками из «истории пыток». Государство – машина, сказал отец, а машины извлекать опыт из собственного хода ещё не научены. Разве что не давить уже тех, кто не может самостоятельно отползти в сторону. Отец был категоричен.

Странная, думал он, привычка – сравнивать между собой времена. Тем более – войны. Большие, маленькие, справедливые, несправедливые. Все одинаковы – слишком велики и преступны по отношению к человеческому хрупкому телу и ранимой душе. Возможно, отец прав, говоря, что войны, а, в пределе, и вся свойственная людям жестокость – плата за интеллект. И что высшее наслаждение – это наслаждение убийством. И те кто развязывает войны, делают это не из интересов государства, а всего лишь из побуждений гедонистических – наслаждаться зрелищем истинного, чистого, невыдуманного насилия и подлинных страданий. Глядя на сытые, значительные лица власть предержащих «героев дня», чередой сменяющих друг друга в телевизионном глазке, в это легко можно было поверить. Почему-то никто из них не прибегнул к самосожжению у кремлёвской ограды по примеру настоящих радетелей справедливости, не взошёл на Голгофу. Впрочем, он редко думал о вещах отвлечённых, как то политика, экономика, власть. А всё что он думал о них в разные периоды своей жизни, лежало там же, под слоем нечистот, нагромождённых его индивидуальной «геолого-исторической катастрофой».

Когда схлынула паника, посеянная его оглушительным возвращением, и выплаканы все слезы, семья принялась думать. Вся его оставшаяся жизнь подверглась пристальному анализу с точки зрения «*что-то надо делать*». Под этим понималась – *работа*. Если он не будет рабо-

тать, сказал отец, – это не жизнь. Если он не будет работать, он не будет, не захочет жить. Конечно, найдётся девушка, которая его полюбит, появятся дети, но если он не будет работать, твердил отец... На что мать, потеряв терпение, откликнулась, едва ли не истерически, пронзительным «Как?!» И упавшим голосом ещё долго повторяла в протянувшейся за этим вскриком непререкаемой тишине: «Как работать? Чем работать?» Сестра же, по-видимому, не осознав ещё в силу возраста важности обсуждаемой «трудовой проблемы», то ли не хотела, то ли не могла ничего добавить и только прижималась к брату, сидя с ним рядом на кухонном диванчике и перелистывая газету, которую оба они читали, или делали вид, что читают, как бы отстраняясь от обсуждения, уже – сказал он – «навязшего в зубах».

Он. знал что будет делать, как действовать. Он не будет обивать чиновные пороги по стопам отца, выклянчивая «материальную помощь», которой не хватит даже на сигареты. Он пойдёт в метро и станет на переходе между Библиотекой и Арбатом и будет собирать дань с безответственных граждан, которые допустили всё это безобразие. И хотя ему нечего протягивать к ним для усиления психологического эффекта, – эффект, он уверен, будет неотразим. Чувство вины, дремлющее в любой, даже самой заскорузлой душе, не может не откликнуться на призыв о помощи, возглашаемый двумя его жалкими обрубками.

И он соберёт-таки необходимую сумму, чтобы выписать из Америки био-протезы, и поступит в Физтех, и станет выдающимся теоретиком, как стали ими слепой Понтрягин, парализованный Хокинг. Ему рассказал о них отец. Правда, при этом добавил: те не воевали. Какая разница? – он спросил. Есть разница, сказал отец. Есть разница между судьбой и судьбой, между наказанием богов и пыточной государственной машиной. Впрочем, отцовский анархический пацифизм был ему так же чужд как и все другие политические теории. Он тогда ответил, что всё дело в позиции: надо стать на точку, откуда всё видится заказанным свыше.

Отец, однако, не одобрил плана. Попрошайничать? Никогда! Лучше он продаст одну из своих почек и на эти деньги... На то возразила мать, сказав, что с неё хватит одного инвалида, и лучше бы отец занялся бизнесом, а не сидел на своей никчёмной кафедре на окладе уборщицы. Плохой уборщицы, добавил отец покорно.

Таким образом, возражение было не принято, и когда, выбрав солнечный день, они с матерью впервые отправились «на паперть», отец как обычно пошагал на работу.

Сестра вышла из дома следом за ними и направилась к месту другим путём, чтобы остаться не замеченной матерью и братом. Она не могла себе представить, как? Как это всё произойдёт? Она должна была видеть своими глазами. Она, не в пример отцу, не считала это позором, но и не очень-то верила брату по поводу американских чудо-рук. Которыми, сказал он, можно даже обнимать девушек. Она подумала: вот с этого и надо начать. С девушек. Ему нужны деньги – на девушек. *На женщин.* Она представила себе на минуту, как её обнимают механические руки – и вздрогнула. Нет, прежде рук ему нужна женщина. Интуиция подсказывала ей то, что, может быть, укрывалось от родителей по причине – по привычке видеть в сыне ребёнка.

Она пришла туда раньше них и притаилась поодаль, за колонной, ища глазами в толпе, в безостановочном людском потоке брата и мать и лишь боясь, как бы те не изменили по дороге намеченному издавна месту. Это была бы несправедливость по отношению к ней самой.

Но вскоре и они подошли и стали у стены на полпути от центрального зала к эскалаторам, сначала как бы в раздумье уединившись от находящей толпы, отгородившись от неё спинами, и в этой образовавшейся маленькой заводи стояли некоторое время, склонившись друг к другу, то ли совещаясь, то ли – молясь. Если б сама она умела молиться, то за эти несколько минут, отделившие, отгородившие собой предшествующую историю жизни и упрямившие её в кокон этого мраморного ненавистного подземелья, она бы, верно, горячо шептала самую действенную молитву. Но, ощутив как сердце летит вниз, она только успела произнести негромко «Господи,» – и в этот момент мать сдёрнула с него курточку, и оба они повернулись

лицами к движущейся толпе. Каким-то чужим, ещё не поставленным для того голосом брат воскликнул «Подайте ради Господа на протезы!» и стал повторять это с короткими паузами; мать же, словно подгоняемая, настигаемая его настойчивыми вопрошаниями, быстро пошла прочь, одолевая встречное движение, вырвалась из толпы и опустила, упала на ближайшую незанятую скамью.

Нужно было уйти, оставить его один на один с людским состраданием, любопытством, равнодушием и собственной уверенностью в правоте длимого действия. Она подошла к матери, взяла у неё из рук братнину куртку с заправленными в карманы, пришитыми за ненадобностью рукавами. Присела рядом.

Было странным видеть людей – благополучных, отрешённых, спешащих по своим делам, пребывающих в ожидании встреч, расстающихся с поцелуями, рукопожатиями... Они жили в ином мире.

Иди домой, сказала она матери. Она заберёт его в назначенный час, привезёт. Они пошли к противоположному выходу, поднялись наверх.

Светило солнце. Оно было очерчено резким контуром, как бывает когда смотришь через закопчённое стекло. Возможно, это им показалось.

Остаток дня прошёл в ожидании. Время будто остановилось, вмещая в каждый самый маленький промежуток кучу ненужных движений, отмеченных какой-то тягучей, навязчивой суетливостью. Проводив мать до троллейбуса, она прошла по Арбату, заходя во все открытые для посетителей двери, бродила между витринами, купила мороженое, посидела немного на Суворовском бульваре, размышляя – не пойти ли в «Повторный», вспомнила, что денег осталось только на метро и снова пошла бродить. Задолго до назначенного вернулась на ту скамью, откуда увела, едва ли не силой оторвала мать четыре часа назад.

Брат стоял там же, где они его оставили. Всё так же выкрикивал свою единственную просьбу, ссылаясь на бога. Она вдруг подумала: нет никакого бога. Странно – ведь раньше она никогда не отрицала его с такой категоричностью.

Она ещё издали увидела, что пластиковый пакет у его ног распирает бумажной массой, это было похоже на цветок – лепестки-купюры свивались клубком, висли по краю.

И всё же сначала она с нетерпеливой настойчивостью набросила на него куртку, застегнула пуговицы и только потом подняла и спрятала в сумку деньги.

Они поднялись наверх и зашли в кабинку платного туалета перед окнами военного министерства. Она помогла ему оправиться – привычная с некоторых пор обязанность как бы зеркально отбрасывала в детство, когда он, старший брат, следил за тем, чтобы «не случилось беды». Она хотела пересчитать деньги, но в дверь постучали, и пришлось выйти: старушка-привратница, заподозрив неладное, сочла обязанностью «спугнуть» подозрительна парочку.

Добычу пересчитали дома – оказалось около двухсот тысяч. Он прикинул, что если так пойдёт дальше, то довольно скоро у него соберётся необходимая сумма. И тогда...

В тот вечер он находился в приподнятом расположении духа. Однако ни мать, ни отец, ни даже сестра не разделили его воодушевления.

А ночью она пришла в его комнату и предложила себя. Сбросила в темноте халатик и залезла к нему под одеяло, я уже взрослая, прошептала, на ухо. Ты когда-нибудь был с женщиной? – допытывалась она, – скажи, был?

Он лежал на спине с открытыми глазами, устремлёнными в потолок. Отсвет уличных фонарей набрасывал там дрожащий узор оконных занавесей. Дверь на балкон была распахнута настежь, дневная жара медленно отступала, освобождая пространство всплывающей из повети древесных крон истомной прохладе.

– Когда это ты успела стать взрослой?

Как она угадала то, что таилось от всех, лишь отпускаемое на волю сладостью сновидений? Навязчивое, каким оно бывает только в отрочестве, редко отпускающее желание. Она повторила свой вопрос.

– Да. Но это было в чужой стране, и к тому же та девка умерла.

Она не узнала – не знала – цитаты. Интересно – что они читают теперь? Откуда эта «святая простота», от которой и не знаешь как защититься? Он отодвинулся на край постели, чтобы не чувствовать горячих прикосновений её кожи.

– Умерла? Как она умерла?.

– Очень просто – её убили.

Он спохватился. Детям нельзя этого знать. И нельзя рассказать как это просто – убить или быть убитым. Непередаваемый опыт. Опыт смерти не передаваем. Опыт любви не передаваем.

Он ощутил приступ тошноты. В детстве бывало так после долгих верчений на карусели. Теперь головокружения возникали часто и беспричинно. Психогенно, говорили врачи, «реакция на затруднение». Да что говорить, вся его жизнь – одно сплошное затруднение. Он где-то прочёл: мир каждую секунду творится заново. Похоже, так. Потому что само время, кажется, причиняет боль, мгновениями пронзая как раскалёнными иглами.

– Я буду единственной женщиной, которая помнит твои руки. Большие, сильные, нежные. И даже когда ты шлёпал меня за шалости, я всегда смеялась, помнишь? Ты стягивал с меня трусики, чтобы сделать «а-та-та» по голой попке, это было так приятно...

Он со страхом почувствовал, как возбуждают её слова, её горячий шёпот.

– И даже если ты будешь обнимать меня пластмассовыми руками, мне будет казаться что они живые...

Она заплакала. Он подумал: ко всем перенесенным унижениям теперь вот добавилось ещё это. Его добьют жалостью. А против жалости существует одно противоядие – ненависть. Если не дать ей воли, жизнь будет невыносима. Он знал об этом, помнил по тем дням, когда ненависть была единственным доступным переживанием. Убиваешь не потому, что ненавидишь, Ненавидишь – потому что убиваешь. Он вряд ли мог бы это сформулировать, но чувство было безошибочным – как питающий его инстинкт самосохранения.

Он выбрался из-под одеяла, встал, вышел на лоджию. Из укрепленной на полке сигаретницы зубами вытянул мундштук со вставленной половинкой «примы», плечом надавил на выключатель, прикурил от покрасневшей спиральки. Подобных изобретений, «отпускающих на свободу руки» (образец стоической иронии с отпечатком его собственного авторского стиля), немало скопилось в доме благодаря отцовскому, говорил он, инженерному гению,

Доведенные до автоматизма действия притушили злость, несколько глубоких затяжек затуманили голову. Он подумал: инцест имел бы несомненное оправдание. Но было бы совсем плохо, если б такое предложила мать. Разумеется, ей не могло придти это в голову, но ведь если перебирать варианты без исключений, то рано или поздно наткнёшься и на такой. Во всяком случае, в литературе описано. Несчастливая Федра тут не одинока.

Он докурив и скovyрнул с мундштука окурок «спецкрючком», ввёрнутым в ящик для цветов. Дымящийся ошмёток закатился между стеблями, тускло посвечивал краснобурым.

Он по привычке посмотрел вниз. Как бы в очередной раз промерил взглядом «последний путь» – одиннадцать этажей, тридцать пять метров свободного полёта. Подумал, что оказавшись уже там, внизу, будет похож на распластанного тюленя. Привычная мысль. Возможно, что она-то и останавливала – эстетические оценки играют в жизни роль далеко не последнюю. Равно как и в смерти. Ему ли не знать, в какое месиво можно превратить человеческое тело с помощью маленькой противопехотной мины. Ещё один непередаваемый опыт. Столь же бесполезный как и всё, чему способна выучить даже справедливейшая из войн. Пожалуй что один только опыт ненависти пригодился ему теперь – он будет жить, пока ненавидит, он сделает

ненависть смыслом жизни и будет мечтать о том дне, когда увидит их на скамье подсудимых, и тогда выступит свидетелем обвинения.

Он только не был уверен, способна ли ненависть жить так долго, как этого хочется. Чтобы ненавидеть – надо убивать, снова подумал он.

Он вернулся в комнату. Сестра ушла, оставив после себя облачко тревожного аромата. Край подушки был мокрым от её слез.

Он уснул, против обыкновения, быстро, и в эту ночь его не изводили сны соблазнами иного мира.

Утром они с матерью снова туда поехали.

Когда милицейский патруль попросил его «покинуть площадку метрополитена», он подумал как хорошо, должно быть, ощутить наручники на запястьях.

Похвальное слово аквалогии

Кто помоложе, недоумевали: зачем? в пятьдесят-то шесть лет! чего нехватает? При всех регалиях! отдыхал бы... через четыре годка – и вовсе законная подмога-пенсия, дачка своя, клубничка, огородик. Что надо ещё? А ненавистники добавляли при том: старому дураку. Мир объехал, стервец, океан избороздил поперёк и вдоль, во всех портах постоял, ни одного бардака не пропустил (это уж было явным преувеличением), вон, рожа-то красная, кирпича просит, а ручищи! – якоря бы гнуть, морской волк, чтоб ему ни дна, ни крышишки. (Настроенные особо враждебно матерились для подкрепления смысла со вкусом и безупречностью фольклористов) Непонимание – вот что особенно раздражало всех. Даже старые друзья, проработавшие рядом по тридцать с лишним лет, испытующе поглядывали: здоров ли? Но подспудное чувство правоты, питаемое в них его кажущимся безумием, не давало выхода открытому осуждению. Когда он выставил свою кандидатуру на выборах, это было воспринято как либеральный задор избалованного жизнью аристократа от науки; его программа переустройства их общего «гнезда», где было снесено столько золотых яиц за годы царствования Утопии, прочитывалась лишь под углом зрения новых свобод: от цензуры, от «первого отдела», от проходной, от оков «режима» со всеми его сказочными уродствами. От нищеты, наконец, всплывавшей на поверхность даже в профессорских озерцах благополучия, когда свежий береговой ветер где-нибудь в Гонконге или Санта-Крусе приносил с собой запахи подлинной современной цивилизации. Однако же человек более внимательный, а главное – заинтересованный, легко обнаруживал под слоем играющего всеми цветами радуги программного демократического лака некую странную конструкцию, весьма похожую на пресловутый «испанский сапог»; а кто-то даже сравнил её с гильотиной, единственно предназначенной для того, чтобы отрубить голову благородной науке аквалогии, выпестованной их многолетними совместными усилиями и взросшей на деньги налогоплательщиков до состояния несомненной возмужалости. Начиная со младенчества, диковинная та наука вскормила неисчислимо статей и статеек, диссертаций и книг, наград, профессорских званий, премий, лауреатств и даже одного академика, чей кабинет с бронзовой оповестительной табличкой помещался в лучшем из углов старого здания, хотя самого обладателя апартаментов давно уже не числилось в институтском отделе кадров: академик был теперь «приходящий».

Удовлетворим любопытство читателя: маленький «научный монстрик» по имени аквалогия исходил из того, что в будущей глобальной войне двух социальных миров – отживающего, загнившего, и нового, прекрасного, нарождающегося, – в войне их ни в коей мере не позволительно будет ограничиться лишь двумя стихиями – привычными уже землёй и воздухом; третья стихия, а именно водяная океанская толща взывала к себе учёные умы, вследствие чудовищной массовой лоботомии не умеющие озаботиться бессмысленностью происходящего, но со страстью прижимающие к сердцу образ Океана как поля грядущих битв. Право, тут было чем поживиться молодым голодным умам! Сколько загадок! Сколько подлинных тайн!

Нет, пожалуй, ничего более похожего на гигантское живое существо, чем Океан. Океан это кровь Земли. Он питает кислородом и влагой, он создаёт климат, и только Луна своим сладострастным жёлтым телом повелевает ему следовать за собой во исполнение её прихоти. Они все любили повторять слова Академика: Океан это королевство кривых зеркал. В толще его нельзя видеть, но можно слышать, а чтобы слышать хорошо, чтобы услышать врага на расстоянии в тысячу миль, нужно две вещи: до последних тонкостей изучить среду и построить всеслышащие уши. Задачи не для одной человеческой жизни. И к тому ведь увлекательные – особенно если забыть о том, для чего и для кого всё это делается. Но кто платит, тот и заказывает музыку. Государство не жалело денег для отращивания своих щупалец, которые запустило уже в Мировой Океан. Под золотым дождём распускались всё новые «направления»,

почковались» отделы, вспыхивали светлячками лаборатории, молодые выпускники физических факультетов с благоговением переступали порог одного из древнейших храмов науки и в ту же секунду становились его преданными адептами. Может статься, упомянутая операция уже слишком глубоко поражала нежные молодые мозги, но факт остаётся фактом: ни в одном, даже самом потаённом уголке ни одного из девяти институтских корпусов заинтересованный слушатель не смог бы уловить даже намёка на разговор о нравственных муках Оппенгеймера, Великом Отказе Капицы или моральной подоплёке сахаровских проповедей. Видит бог, ни в одно сердце не закралось сомнение, ни одна душа здесь не мучилась угрызениями совести.

Орлов скрежетнул зубами и повернулся на другой бок. И снова перед глазами встала знакомая до тошноты панорама: проходная, автоматические ворота, кирпичный фасад четырёхэтажного корпуса с табличкой у входа: «Институт аквалангии АН СССР». Наглая ложь. Уже пятнадцать лет назад Академия отреклась от них, отдав на поругание ожиревшим милитаристам без чести и совести. Только ценой собственной маленькой лжи ему удалось сохранить своё направление исследований: невежды в мундирах слишком легко поверили, что поиск нейтрино в океанских глубинах – паче чаяния станет успешным – откроет новые небывалые перспективы в сверхдальней подводной связи. Несомненно претендуя в будущем на славу величайшего научного мистификатора, он выстроил целую теорию «нейтринной связи», опубликовав её в совершенно секретных, разумеется, институтских «трудах». Для вящей убедительности собой пожертвовал даже один из его младших научных сотрудников, мужественно защитивший диссертацию на ту же фантастическую по своей абсурдности, но в высшей степени, по мнению Учёного Совета, «интересную» тему. Присутствовавший на защите Академик хмыкал, хитро поблескивал стёклами очков и даже задал один вопрос, показавшийся Совету бестактным. Он спросил: каков будет экономический эффект от широкого внедрения новых способов связи в подводном мире? В ответ на что диссертант ничтоже сумняшеся назвал сумму в несколько миллиардов рублей. Академик вскоре поторопился уйти, заранее бросив в урну свой бюллетень, и Совет проголосовал «за» при одном воздержавшемся.

При этом воспоминании его губы покривились в усмешке. Он, Александр Орлов, признанный учёным мировым сообществом как изобретатель НОЛ – Нейтринной Океанской Ловушки, вынужден лгать, будто нашкодивший в классном журнале двоечник. Нет! – сейчас или никогда. Или он выйдет победителем из этой схватки с чудовищем – или умрёт. В конце концов, он сделал всё, что было в его силах. И вообще, кажется, всё предначертанное судьбой. Смерть от голода, говорят, легка. По крайней мере его не будут истязать принудительными кормлениями – не то время. И не запихнут в психиатрическую тюрьму. Могут убить. Взорвать, например, машину, благо взрывчатки за этим забором предостаточно. Правда, его охраняли друзья, преданные ему люди, единомышленники; чуть скосив глаза влево, он и сейчас мог видеть на лоджии первого этажа блочного дома через тротуар, в «опорном пункте», полускрытом в зарослях сирени, сидящего на стуле человека с газетой в руках – дежурного стража. Он даже не знал, как зовут этого человека. Кто-то из добровольцев. Впрочем, лицо, конечно, знакомое. Ему сказали, что они вооружены. Он в это не верит. Ракетницы? возможно. Только не боевое оружие. Припомнился изобретенный восемнадцать лет тому лазерный глубоководный локатор – «лидар», его гордость, инженерный шедевр некогда острого, теперь, увы, пригупившегося ума. Если увеличить мощность на входе, можно использовать как оружие. Ну, да всё это фантазии, не раз объезженные беллетристами.

Орлов снова повернулся на левый бок. Из поля зрения ушла проходная, и ворота, и приёмная «кадров», и его окно на четвёртом этаже с неживыми, задыхающимися в кабинетной духоте геранями за двойным стеклом. Осенняя липами улочка, четыре близнеца дома с палисадниками и наивными мозаичными панно на обращённых к редким прохожим торцах, детская площадка, балконы – балконы с цветочными ящиками, со старой мебелью, с бельём на верёвках, велосипедами, греющимися на солнце кошками и редкими, как жемчужины в мор-

ских раковинах, и такими же одинокими стариками. Изученный до мельчайших подробностей за восемнадцать дней голодовки пейзаж.

Днём он полулежал на заднем сиденье своего старенького «москвича», иногда задёргивая шторы на окнах, чтоб избежать любопытных взглядов; на ночь откидывал передние спинки и пытался вытянуться насколько позволял ему его двухметровый рост. Вечером, после работы, приезжала жена, привозила воду, пыталась уговаривать, потом оставила в покое, поняв бесплодность своих попыток. Иногда навещали дети – такие взрослые и такие уже, в сущности, далёкие, непонимающие. Внучка приносила свои рисунки. Посидев с полчаса рядом, уходили. Тело его стало лёгким, как осенний высохший лист, и когда он шёл в «опорный пункт» совершить очередной, скорее ритуальный чем вынужденный туалет, его подгоняло ветром или, наоборот, затрудняло до сердцебиения те несколько шагов, что отделяли машину от первого с края подъезда. Подремав, он принимался читать, но раз за разом убеждался с грустью, что чувство, потребное для вживания в художественный текст, умирает вместе с телом. Так, подумал он, должно быть, умирает любовь.

Одни воспоминания теперь занимали его мозг, временами приобретая силу и яркость настоящих галлюцинаций. Верно сказано: только странствия оставляют след в сердце мужчины. Как бы ни сложилось дальше, он благодарен судьбе: она одарила его подлинным чудом – едва ли не сказочным, почти нереальным в условиях гигантской тюрьмы, каковой была и бог ведаёт сколько еще останется бедная страна. Но он-то странствовал! Известнейшие порты мира открывали ему свои гавани, оглушали громкоголосым говором, слепили яркостью одежд и блеском глаз. Впадая в дрёму, он снова переносился в Мадрас, БуэносАйрес, Гонконг, бродил под пальмами Санта-Круса, взбирался на Тенериф, вновь ужасался тому шторму в Бискайском заливе, который чуть было не отправил на дно парочку их стареньких «академиков». Орлов усмехнулся. И что за странный обычай – называть научные корабли прославленными именами; рано или поздно их всё равно приходится списывать «на гвозди», и тогда кроме естественной печали прощания ко всему примешивается чувство вины, будто участвуешь в заклании великих умов, которым обязан собственной удачной карьерой. Его недруги в чём-то правы. Когда тысячи его сверстников катали тачки в Гулаге за то что пытались вырваться за железный занавес, он, как вольный пират, скитался по морям в поисках сокровищ для пополнения мировой научной казны. Мог ли он упрекнуть себя за это? Нет, подумал он, это судьба.

В сущности, он и был пират, на флаге которого красовалось солнце, а единственным оружием выступала маленькая остро отточенная ложка. Ложка как способ существования белковых тел. Неплохой афоризм, подумал он. Не означает ли это, что конец лжи полагает конец и телу? По меньшей мере, его телу уже видится начало конца. Может быть, ложка это и есть сама жизнь, и прежде чем на нашей иссохшей земле восстановится истина и вновь обретут свои права и красота, и добро, прежде все мы должны умереть, как зачумлённые в карантинном блоке? Орлов приподнялся на локте и глотнул из фляги; нестерпимая сухость во рту мучила больше всего. Закатное солнце выскользнуло из-под облака, ударило в окна домов и, отражённое, напитало воздух в салоне розовой дымкой. Орлов снова повернулся на правый бок и отодвинул шторку, служившую защитой от экспансии равно как ненавидящих, так и сострадательных взглядов, казалось, устремляемых к нему каждой клеточкой дряхлеющего организма «фирмы», частью которого был он сам. Либо он переломит некрофильский характер этого чудовища, либо они умрут вместе.

Он смотрел на закат. Когда скитаешься в южных морях, нет более захватывающего, более ошеломительного зрелища, чем прощальная феерия заходящего солнца. Поистине, сам бог тогда жонглирует светом, воочию доказывая человеческую глупость, возымевшую дерзостное желание сравниться с ним в могуществе, но абсолютно не способную отличать могущество зла от могущества добра. Однажды виденный Орловым на Севере мегатонный ядерный «гриб» и предварившая его вспышка, по расхожему выражению, «ярче тысячи солнц» (какая, однако,

насмешка над Солнцем!) выглядели в сравнении, право, зловещим, но жалким фейерверком, устроенным неумелыми пиротехниками. Закат в Акапулько поджигал всё небо и заставлял пылать его очистительным огнём, будто для того чтобы в ночной стерилизованной атмосфере без помех струились звёздные лучи-посланники. Причастие такого огня наполняло спокойствием и чувством собственного бессмертия. Должно быть, уж это стало неразрывным – зрелище заката и воспоминание о тех пяти сутках в мексиканском порту, когда дни и ночи слились для него в нечто волнообразное, как океанская зыбь, то возносящая, то бросающая в бездну с перехваченным дыханием, коль вовсе не заставила перевеситься через борт с убийственными признаками морской болезни. Многая любви – многая печали, с усмешкой подумал он. Не оттого ли, что любовь – синоним знания? Истина в последней инстанции? И, подобно истине, рождается не в муках труда, но осеняет свыше, как зарева вспышка интуиции. Как чудо. Как миф. Ему вдруг вспомнилось так поразившее недавно определение: миф есть явленная в словах чудесная личностная история. Железная логика философа замкнула свой путь в анналах чисто человеческого. Теперь, для него, Александра Орлова, любовь, прожитая в далёком краю, стала мифом: явленная в образах памяти чудесная личностная история. Он любил пересказывать её самому себе – нужен лишь был минимальный повод: сегодня им стали краски заката, пришедшие отблеском тех, южных, вечных смесителей дня и ночи. Он и раньше пересказывал её своему же, не перестающему всякий раз удивляться воображению с начала до конца и с конца к началу, и отдельными кусками-цитатами, как любимую сказку, в которой нет начала и нет конца, а только живая плоть настоящего. Возможно, оттого что на фоне неба чётко обрисовались контуры институтских зданий, Орлов с удивлением вдруг увидел вписанным в них (вчера его не было) знакомый абрис: два, вполоборота, изящно очерченных и потому кажущихся лёгкими несмотря на свою огромность щупальца кронштейна, будто в растерянности повисшие над кровлей бассейна. О, как хорошо знаком ему был сей хитроумный механизм! Подумать только! – ведь и та памятная экспедиция одной из своих целей ставила испытать этого кибернетического монстра в натуральных условиях вкупе с его и только ему подвластной ношей: гигантской гидроакустической антенной для сверхдальнего обнаружения плывущих и ныряющих целей. Установленная по правому борту, она взлетала над пирсом, как вставшее на дыбы костистое чудовище, привлекая взоры невинных аборигенов. Рехина смеялась: она тоже попала на удочку. Нет, разумеется, главным было не это, просто она всегда старалась воспользоваться случаем поговорить с русскими: родной язык иссыхал без притока энергии извне, и хотя русская колония в Акапулько достойно представляла диаспору, общение «с первоисточником» (странно было слышать нечто набившее оскомину в ином, незамутнённом контексте) для неё – несравненное наслаждение. Он усмехнулся: третья генерация славной эмиграции. О, Рехина! Уже струйка мексиканской крови бежит по твоим голубым, тонко просвечивающим жилкам (он будто снова приникал губами к тёплой ложбинке над левой ключицей, откуда уверяла она – поцелуи проникают прямо в сердце), а ты всё тянешься к несчастному первородству, к израненному, искалеченному языку, с восторгом, право, непонятным, схватывая на лету наинovelшие нелепости. Это я должен был учиться у тебя русскому, по ягодке беря твою «замороженную клубнику» (очаровательная набоковщина!) и раздавливая на нёбе многократными повторениями все эти «парасоли», «тарталетки», «завой», «погодя» и прочую милую лингвистическую ископаемость. Рехина, радость моя недолгая! Помнишь, как мы просыпались по утрам, пробуждаемые вспыхивающим над Кордильерами солнцем, и как ты приветствовала его по-своему, подбегая к распахнутому окну каюты и подставляя свою изваянную наготу ещё не жгучим, но ласковым, как объятия ребёнка, лучам. И даже две когтистые лапы, вздымавшие навстречу солнцу свою таинственную, тщательно укрытую брезентом ношу, не казались уже зловещими, а лишь будоражили всякий раз твоё молодое любопытство, и ты не уставала повторять просьбу, похожую больше на каприз, почти невыполнимую и всё-таки выполненную мной, потому что не было тогда ничего такого, что бы я для тебя не сде-

лал. Ты смеялась: как луну с неба. А ведь это было ничуть не проще: обнажить зубы дракона перед лицом города, и без того с подозрением взирающего на странный корабль, населённый не менее странными людьми – этими новыми русскими, которые никогда не появляются на улицах иначе как по трое, обходят далеко стороной весёлые кварталы и подолгу роются в захудалых лавчонках, выискивая дешёвое барахло. Я приказал начать профилактические работы, не дожидаясь отплытия – это было жесточайшим нарушением «режима». Если первый шаг по направлению к пропасти помогла сделать мне ты, вторым стал тот чёрным по белому приказ, кроме очевидного «разглашения» государственной тайны, будто бы ещё и превысивший полномочия начальника экспедиции. Ты, должно быть, запомнила на всю жизнь последовавшую затем отвратительную сцену, когда они буквально вломились в каюту, предводительствуемые, разумеется, моим дорогим заместителем, другом-врагом, «из лучших побуждений» взявшим на себя роль главного бунтовщика. Если бы я был подданным свободной страны, а не тащил на себе ярмо, я бы немедленно повесил их на рее, и не стал хитрить и прикидываться не знающим законов нашей «социалистической родины». Когда же дело дошло до оскорблений в твой адрес, и в атмосфере повеяло матерком (впрочем, гордость, преисполнившая тебя в новом качестве – «мексиканской шлюхи» – едва не заставила меня расхохотаться) пришлось дать волю рукам, и наслаждение, которое вдруг испытал я, по одному вышвыривая их из каюты и спуская по трапу, – это сладостное удовлетворение мезью даже испугало меня самого. Может быть, только в детстве или юности я могу припомнить одну-две вспышки такого неудержимого гнева, с годами привычка держать себя в узде стала второй натурой. Но – чёрт возьми! – я почувствовал себя настоящим морским волком! Вульфом Ларсеном! Что до тебя, то восторгу твоему не было границ. Милая Рехиночка! Смешная... ты немедленно предложила мне руку и сердце – ведь из всего, что я успел тебе рассказать и что само вырисовывалось перед тобой (хотя бы тот леденящий душу оскал – челюстями гигантского черепа, – который выступил из-под стянутого по моему приказу чехла и заставил ужаснуться наших «режимщиков») – из всего этого, когда миновало твоё по-детски непосредственное восхищение, ты сделала один непреложный вывод: моя карьера «морского волка», так славно начавшаяся разгромом бунтовщиков, продлится не дольше чем до севастопольского порта. А сколько ещё ты не могла себе представить! Но ты сделала всё, что могла сделать для меня в сложившейся обстановке: предложила остаться в твоей стране и уверила в гарантиях политического убежища. Великий Соблазн обуюл меня! Будто перевернулся мир, и под спудом нагромождённой десятилетиями коммунистической мертвечины обнажилось нечто простое, чистое, светлое и в то же время захватывающее дух совершенством своей гармонии. Так показалось мне тогда, но сейчас я понял: единственным убежищем, в котором я по-настоящему нуждался, была наша любовь

Последняя любовь, подумал он. В пятьдесят лет всё имеет шансы стать для тебя последним. Последний закат, например. Та экспедиция – вот она и стала последней. Скандал, «персональное дело». («Скажите спасибо, что не лишили вас допуска. «Спасибо, сказал он.) Что это значило – стать «невъездным»? Значило распротиться с мечтой о встрече – когда-нибудь, где-нибудь, и всё-таки в этой жизни, под этими звёздами. Капкан захлопнулся. Хитроумная пружина сначала мягко защёлкнулась ошейником (он подумал: звук захлопнутой двери), а потом начала медленно сдавливать горло, пережимая артерии, перерезая мышцы, ломая позвонки. Лишь только сбитое, но отнюдь не погасшее пламя мятежа рванулось по коридорам – и снова вверх, по трапу, к капитанской каюте, по пути захватывая всё новых сторонников и подпитываясь извечным недовольством бесправия по имени дисциплина. Добрый малый, уж который день пребывающий в состоянии «портового запоя» и вряд ли даже понимающий, что происходит, капитан Тютюник, не читая, подмахнул телеграмму в «центр», принял очередную «дозу» и снова завалился в койку, попросив прислать из буфета «минералки». Старпом побежал к радисту, и пока Орлов, скрепя сердце и во избежание новых акций, выводил Рехину из корабельного чрева и провожал, поддерживая, по сходням, а потом ещё и брал обещание

«обязательно придти завтра», «когда всё уляжется», за это время уже был получен приказ: немедленно выйти в море. Нет, он не мог. Он бы умер от ностальгии. От тоски по детям, по внучке. И что за прок молодой женщине от мертвеца, хотя бы и пребывающего в обманчивой видимости жизни: что-то говорящего, что-то делающего («Ты сможешь учительствовать в нашей школе!»), иногда подверженного даже приступам страсти, но с душой – он не сомневался в этом, – омертвевшей быстро и необратимо от отсутствия снега, недостатка пасмурных дней в году и мелочных житейских забот, ловко подменяющих смысл жизни. («Смысл жизни – в любви!» Аминь, аминь, так и должно говорить молодости.) Единственно что он мог – задержать отплытие до утра, пользуясь преданностью немногочисленной «гвардии». И только вновь увидев девушку на пирсе в окружении стайки детей («Мой класс!») – крикнула громко, чтобы пробиться сквозь корабельные шумы), снял отчаявшееся «вето» и потом долго стоял у борта, перешёл на корму и опять стоял, против солнца вглядываясь в отдаляющийся берег с тёмной полосой причала, зазубренной посредине горсткой человеческих, скоро обратившихся в точечную россыпь фигурок. Когда же и цепь Мексиканских Кордильер сникла на востоке за чертой горизонта, пришёл новый приказ, вовсе отстраняющий от должности начальника экспедиции и передающий её «для исполнения обязанностей вплоть до возвращения в порт приписки товарищу Ганджуре Л. Б.»

Закатное небо, так живо напомнившее Орлову ту короткую, но незабываемую главку его, право, довольно унылой жизненной летописи, медленно растворилось в сумерках, и меж сгрудившихся будто для защиты от нападения институтских корпусов, зажглись фонари. Он подумал, что всё, когда-либо происшедшее с ним, имело продолжение, так или иначе вливаясь в поток событий и часто отклоняя его с великолепной непредсказуемостью рока. Судьба, думал он, это проявление мирового детерминизма, и ничего больше. Теперь, по прошествии пяти лет, чуть отдаливших, но отнюдь не изгладивших из памяти тот поистине болезненный приступ любовной горячки, настигший его под чужим небом, – теперь совершенно отчётливо прочертилась линия связи (в угоду механицизму полагалось присовокупить бы: причинно-следственной) между тем заболеванием и нынешней объявленной голодовкой, посредством которой он, Александр Орлов, намеревался – хотя и с опозданием – чуточку отодвинуть несчастную страну от края бездны. Кто наблюдал когда-нибудь текущую воду – а кто ж такого не видел? – знает, как убыстряется её бег в узких протоках и затихает, почти останавливается в заводях: тоже и память перепрыгивает через годы в теснине обыденности, и вдруг сосредоточивается в медленном, завораживающем круговороте, утягивающем взгляд к чему-то лежащему в глубине и если не угрожающему подняться вдруг на поверхность, то всё равно живому, дышащему всей кожей, а может и в новой стихии сформировавшимся жабрами, и потому бессмертному. Такова всегда испытанная давно ли, недавно, разделённая, безответная, радостная, мучительная, страстная, платоническая и во всех возможных пропорциях смешавшая данные признаки и погрузившаяся, казалось бы, в полное и окончательное забвение, – таковой, несомненно, пребывает всегда любовь. И нет ничего удивительного, что как бы снова прожив со всеми – до галлюцинаций – подробностями те долгие пять дней (он подумал: вероятно, голод – причина их пугающей яркости), помноженные пятью жаркими, истинно тропическими ночами до размеров целой жизни, – прожив её снова, разъяв едва ли не по минутам сверхплотный сгусток воспоминаний, он заспешил вниз, будто ускоряясь от нагоняющих друг друга, толкающих к единственному выходу следствий.

Ган-джу-ра. Орлов даже вслух выговорил, разделяя паузами, три слога (ненавистного?) имени. Пожалуй, нет. Ростку ненависти, паче чаяния пробившемуся в заповеднике старой дружбы, редко удаётся войти в силу: он подавляет ядовитыми испарениями культуры полезные, как то – доверительность, задушевность, искренность и вообще привязанность, но и сам, истощившись в этой борьбе, погибает, оставив на месте схватки кусок выжженной, бесплодной души. Одно из навязчивых состояний, свойственное невротикам, подумал он, повторяешь

чем-то зацепившееся в памяти – возможно, звуковой показавшейся странностью, – случайное имя и никак не можешь остановиться, хотя и сознаёшь ничтожность этого мысленного занятия. Теперь он остановился на первом слоге: ган. И как бы даже обрадовался, найдя неожиданно английский перевод: нечто стреляющее – пистолет, револьвер. Подходит. Выстрел в упор. В сердце. Два же последних образуют восточное имя, в детстве он читал книжку с таким названием, про басмачей. Итак, полностью: Ган-Джура. Недаром наши язычники-предки уверяют нас: имя – это душа человека. Посмотрим дальше: Лев Борисович. Очаровательный львёнок, пришедший с институтской скамьи на «фирму» двадцать четыре года тому назад, стал признанным главой целого направления и, если не почитался пока ещё основателем научной школы, то лишь потому, возможно, что им избранная лож оказалась менее удачной, чем лож его, Александра Орлова. И то верно: кто ж видел нейтрино? – но дельфин, приспособляемый для военных целей – это уж извините! Тут посмотреть надо, рукой погладить. Оно понятно – «режим», дотянуться трудно, и больше надо на слово верить. К тому же, зачумлённые экспериментами бедные животные и впрямь иногда что-то делали похожее, как говорится, на правду. Вполне понятно, что едва стронулся и пополз вверх «железный занавес», обе их гениальные выдумки обнажились первыми – не оттого что кто то указал пальцем, как в известной сказке, на «голового короля», просто-напросто их посадили сначала на скудную диету «остаточного финансирования», а потом и вовсе «закрыли темы». «Гензаказчик» в лице военных развёл обессиленными ручками и заскорбел душой за упдающую «обороноспособность», при том открыто ухмыляясь лоснящимися чиновными физиономиями.

Бывшими друзьями-соратниками – а начиная от приснопамятного «мексиканского скандала», не то чтобы врагами, но соперниками в борьбе за «престол» – «новое время», ещё не понявшее себя и посему пробавлявшееся кашичей «перестройки», было воспринято ими – Александром Орловым и Львом Ганджурой совершенно по-разному. Если бы кто-то пожелал в тот момент олицетворить две грани раскола «новой исторической общности – советского народа», то не нашёл бы ничего лучше как отпечатать, по старой традиции, во множестве их портреты и, снабдив противостоящими лозунгами, раздать населению. Восторженное «да!» начавшимся переменам и твёрдое, до скрежета зубового, «нет!» Военнопромышленный комплекс извивался в предсмертных муках и в агонии мог ещё натворить немало бед.

Созерцание каменных ослепших громад (редко кто задерживался теперь после рабочего дня), как, впрочем, и вид полузабытого и оттого, возможно, вновь поразившего воображение робота-подъёмника, двумя гигантскими клювами будто снимающего кровлю испытательного бассейна, – всё это теперь, когда панорама осветилась резким, бьющим в глаза электрическим светом, показалось Орлову донельзя раздражительным; он опять отвернулся и закрыл глаза. Спать. Минуту-две он ещё подумал – справедливости ради будет помянуто – о заключённом в лабиринте страха техническом гении (их прославленный в отрасли «огромный научно-технический потенциал» не был таким уж преувеличением) и снова, как в разбитую колею, соскользнул мыслями в историю своей, затеянной в свете новых надежд, борьбы. «Престол», а проще сказать, директорский пост всегда маячил перед глазами «активистов от науки», то бишь учёных «некабинетного» склада, выстраивающих из малых ли, больших своих достижений абордажную лестницу для захвата вождельных начальнических «столов». Сектор, лаборатория, отдел, отделение – «столов» было много, и, пересаживаясь с одного на другой, «активист» неизменно приподнимался на ступеньку, и таким образом имел шансы рано или поздно заскочить в ячейку «номенклатуры», как бы создать неприступную огневую позицию для дальнейшей атаки на главную руководящую высоту. Нет, он не участвовал в этой гонке. Ему, Александру Орлову, была необходима лишь творческая свобода, и он обеспечил её себе, пусть ценой лжи, но лжи во спасение подлинной, настоящей науки. «Мексиканский скандал» положил им конец: свобода сменилась бдительно охраняемым заточением, а лож умерла за ненужностью – в четырёх стенах продолжать исследования по «нейтринной тематике» было невоз-

можно. Он огляделся окрест и через призму созданного десятилетним трудом математического аппарата увидел не менее захватывающую проблему – ультразвуковую томографию. Что ж, сказал он себе тогда, погрузимся в человеческий мозг, в нём не меньше тайны, чем в Мировом Океане.

От той же мексиканской отметки началось восхождение Льва Ганджуры. Его собственная ложь, ощутившая прилив новых, «административных», сил, нагнала не по дням, а по часам. Едва заняв пост начальника отделения сверхдальней гидроакустической связи (откуда свергнут был «за потерю бдительности и аморальное поведение в иностранном порту» доктор ф.-м. наук, профессор и проч., Ганджура заявил в узком кругу научной общественности, допущенном к кладезю государственных тайн, о том, что работы по выведению особой породы дельфинов самоубийц, проводимые под его руководством в Черноморском филиале, завершены, и отныне дельфины-камикадзе, направляемые по лучу гидролокатора, могут быть с полным основанием поставлены на вооружение военно-морского флота. «Гензаказчик» с умным видом кивал четырьмя присутствующими головами. Учёный совет индифферентно молчал, Орлов (еще не выведенный за его пределы) сидел в дальнем углу и любовался вдохновением бывшего друга, оживившим правильные черты его холодного в иное время, малоподвижного лица. Никому не хотелось ввязываться в полемику, потому что пришлось бы при этом доказывать очевидные вещи, в конце концов назвать наглеца наглцом и навлечь на себя гнев «руководства»; как всегда, легче было промолчать. Лишь прибывший по сему случаю начальник главка задавал невпопад и не идущие к делу вопросы, которые парировались докладчиком с отмеренной долей пренебрежения. Какой-то новичок робко осведомился о заключении общества охраны животных: имеется ли? – чем вызвал в аудитории оживление, подытоженное председательской репликой, существо которой сводилось к тому, что обороноспособность государства неизмеримо выше благополучия населяющих его животных. Орлов же громко добавил: «И людей!» Дала себя знать обида.

Замечание подобного рода не могло, разумеется, пройти мимо ушей «компетентных органов». Он был вызван на следующий день к заместителю директора по режиму и удостоился чести услышать свой голос в записи на плёнку, и хотя и не узнал его (как это всегда бывает по причинам акустическим), отрицать авторство было бессмысленным и даже не пришло ему в голову. Присутствующий здесь же незнакомый молодой человек спросил, что он думает по этому поводу. Орлов почувствовал, как в нём закипает гнев, но удержался от вспышки посредством нетактичного, до грубости, вопроса: «А вы кто такой?» И получил исчерпывающий ответ, а также приглашение побеседовать «в другом месте».

Бывают странные совпадения, иногда заставляющие думать о присутствии в этом мире неких высших сил, скудно, а всё же отпускающих порции справедливости. Последовавшее вскоре после беседы на Лубянке – впрочем, вежливой – отлучение от всех и всяческих документов с грифом «секретно» Орлова не очень-то задело: ультразвуковая томография, ставшая теперь его новым увлечением, не нуждалась в государственном сокровении, и посему его пока не гнали из института, хотя в иное время само нахождение «отлучённого» в стенах «фирмы», один за другим плодящей тайные замыслы, было бы сочтено невозможным. Времена менялись, и даже быстрее, чем успевали меняться люди. Едва ли не первым вестником объявленной «перестройки» явился министерский приказ о проведении выборов нового директора.

Выборы?! Директора?! Такого давно не слышали. Но оживилась и затеплилась надежда на что-то лучшее, а претенденты на престол, уже стоящие совсем близко и вожделеющие в отдалении, и даже выказывающие к нему открыто презрение, все встрепенулись и понесли заявления в учреждённую для того конкурсную комиссию.

Когда Орлову стало известно, что в претендентах обозначился Ганджура, он положил перед собой чистый лист и явно изменившимся от волнения почерком (одновременно гнев и опьянение воздухом новизны заставляли руку нестись по бумаге без оглядки на своеволие

падающих плашмя, взлетающих, колющих углами или вдруг съеживающихся букв) – неверной рукой «потерпевшего при старом режиме» – набросал заявление.

Комедия выборов мало чем отличалась от всех подобных комедий, разыгрываются ли они в одном зале или в масштабах стран. Известно, что демократия – не лучший способ добиться разумности бытия: демос являет собой во все времена механизм осреднения, а если им ещё и манипулируют, то результат может оказаться вовсе не тем, что ведёт к свету.

Три вечных и неизменных условия демократических выборов – консерватизм большинства, бесспорная мощь демагогии и обыкновенное жульничество, – как уже не раз случалось в этом мире, привели к победе того, кто не сидел в гордом ожидании триумфа, обусловленного новаторской программой и блестящими предвыборными речами, а наиболее расторопного, умело сыгравшего на трёх упомянутых струнах – «балалаечника», по меткому, но отнюдь не действительному в своём остроумии определению, которое принадлежало некому анонимному автору, скорей всего давно уже сгинувшему в веках. Победил Ганджура. И даже то что он, Александр Орлов, единственный из трёх оставшихся после отбора претендентов, он один, как говорят на театре, сорвал аплодисменты пламенной речью, обращённой ко всему прогрессивному в этих мрачных, заплесневелых стенах, – и то пребывало теперь одним лишь приятным воспоминанием. Откровенная насмешка, заключённая в письменном извещении комиссии, жгла самолюбие. «Уважаемый Александр Иванович, – писали-потешались, – доводим до сведения... при общем числе сотрудников 2147... за Вашу кандидатуру... только 154... как видите, Ваша ярко выраженная пацифистская программа нашла вполне определённой отклик... желаем дальнейших успехов...» Конечно, он понимал: его тайно возросший и столь неожиданно расцветший на глазах у потрясённого обывателя пацифизм не имел шансов завоевать умы, поражённые недугом, как это ни парадоксально звучит, задолго до своего рождения. Ну, пусть умы... но ведь сердца-то просыпались уже! Он чувствовал их тепло, и оно было много сильнее, чем если бы копилось только в ста пятидесяти четырёх! По меньшей мере, вдесятеро больше! И когда поползли слухи о действительной подтасовке избирательных бюллетеней, он решился на этот последний шаг – объявленную голодовку.

Сильное средство, ничего не скажешь. Там, где социум не очерствел от перманентных страданий, а государство интегрировано в мировом сообществе как равноправный член, – там добровольное умирание в знак протеста – событие чрезвычайное. Орлов начинал понимать уже, что его собственный протест не будет услышан. Не время и не место. Итак, прошёл ещё один, восемнадцатый день. И закатилось окровавленное солнце, напомнив собой о незаживающей кровоточащей ранке на месте отсеченной любви. И пришла ночь.

Она была такой же беспокойной, как и все предыдущие, но и принесла с собой вещей сон. Будто из-за ограды, опоясавшей Институт Аквалогии, бесшумно протянулись два когтистые щупальца, охватили нежно кузов машины и плавно перенесли в свою вотчину; на секунду замерли над кровлей испытательного бассейна в ожидании, пока та раздвинет пластиковые лёгкие створки и обнажит темно мерцающую водную гладь; потом изящно изогнулись в поклоне и погрузили не спеша в глубину.

Незадачливый пацифист проснулся от удушья. Это был уже второй приступ за последние три ночи. Пора было снимать голодовку.

Ведь роботам, подумал он, невозможно доказать что-либо «слишком человеческое».

Не дожидаясь рассвета, Орлов завёл мотор и двинулся вдоль пустынной улицы. Домой.

Театр теней

*«Память»... есть лишь знак невежества перед лицом
непостижимой многомерности или объёмности времен»
(М. Мамардашвили, «Лекции о Прусте»)*

Нас взяли в театре. То есть клюнули, конечно, на жену – она, в отличие от меня, производит на всех благоприятное впечатление: сравнительно молода, умеет одеться и обладает неким известным качеством, которое называют приветливостью. Если бы рядом в тот момент отсвечивала моя мрачная физиономия, никогда бы не видеть нам прелестей «клубного отдыха» – этого новомодного изобретения богачей «среднего класса» (средней руки), рождённого пресловутым «восстанием масс». Я пытаюсь тут сразу взять быка за рога – определить, так сказать, социальную подоплёку явления. Прошу не путать с восстанием в русском понимании слова, ибо тогда кроме грязи и крови в вашем представлении ничего не появится, а я, наоборот, клоню к вещам и событиям приятным и даже приятнейшим во всех отношениях.

Какое ёмкое слово – взять! И какое необходимое! Едва начав рассказывать, я употребил его дважды – это плохо с точки зрения стиля, на одной странице не должно быть двух одинаковых слов. Но что поделаешь! Вас «берут» – и другое слово бессильно передать нюансы произведенного над вами действия, нет подходящего синонима, да и вряд ли он просто нужен.

Попадая в театр (что случается, впрочем, нередко), я первым делом, прямо из раздевалки отправляюсь в буфет пить пиво, чтобы застраховаться от скуки первого действия и в случае необходимости погрузиться в короткий освежающий сон, способствующий преодолению, возможно, чуть меньшей скуки акта второго. Если мне удалось заснуть, то в антракте, когда мы прогуливаемся в фойе, рассматривая фотографии актёров, жена излагает мне краткое содержание увиденного, и мы вместе делаем предположения относительно развития мысли и «тайны характеров!» А потому как мысли и характеры в большинстве отсутствуют или навязли в зубах, то чаще обсуждаем «игру» – и вообще, как правило, отвратительную. Если кино благополучно скончалось, умерщвлённое телевизором, то театр теперь напоминает зомби, которого накачали наркотиками дельцы шоу-бизнеса. Подмостками завладели гомосексуалисты, психопаты и насекомые в человеческих обличьях, я говорю, что когда на сцене мы увидим наконец натуральный половой акт, я пойду и поставлю свечку за упокой театральной души. Жена утверждает, что такого не может быть, потому что не может быть никогда. Это моя вторая жена, она ещё молода и наивна.

В тот раз, как обычно, я отправился в буфет, пока жена перед зеркалом приводила себя в порядок, а когда вернулся, увидел, что уже поздно, и остаётся только «завершить дело миром». На банкетке, под фото-клипом, воспроизводящим некую сцену из «Трёх девушек в голубом», сидела тесная парочка, в одной из половин которой я узнал жену, а во второй немедленно угадал источник неясной, однако остро ощутимой опасности. Неопределённого возраста девица держала на коленях перед собой нечто похожее на амбарную книгу и записывала, как я понял, ответы моей жены. Кому приходилось когда-либо давать показания, знает это чувство оголённости, прищипленности к «грязному делу» – даже если выступаешь простым свидетелем. Какие тут могут быть вопросы? В театре! Я бесцеремонно сел рядом по правую – пишущую – руку, вроде бы невзначай слегка притиснув её плечом, и заглянул в каракули, которыми была покрыта уже добрая половина листа. Дама с удивлением повернула ко мне насурмленное личико и попыталась отстраниться, но тут жена вмешалась и разом испортила игру банальной репликой: «Мой муж». Удивлённое выражение на лице интервьюерши мгновенно сменилось приторной улыбкой, она повернулась теперь ко мне и, обдав каким-то французским ароматом, повела, что называется, фланговую атаку. Где я люблю отдыхать? Как про-

вою свободное время? Как отношусь к международному туризму? «Какому?» (Я не понял.) «Между-народному,» – повторили мне с нарочитой внятностью, едва ли не по слогам. Жена опять вмешалась: «Я всё тебе потом объясню». В это время зазвонили к началу зрелища, и мы пошли в зал, а девица с амбарной книгой устремилась за типом в сиреневом пиджаке, неторопливо шествующим в буфет, по всему, с намерением провести в нём первое действие. Я ему позавидовал. Пьеса нашумела в узких кругах, и жена взяла с меня обещание посмотреть её от начала, в антракте же договорились принять решение – остаться или уйти. Наученный горьким опытом, я уверился: нет такой пьесы, в которой без ущерба для зрителя и, без сомнения, с пользой для театра нельзя было выбросить первое действие как балласт, влекущий на дно к тому же репутацию драматурга. Пока мы разыскивали свои места, усаживались и ждали ритуального затемнения, жена коротко изложила суть дела. Фирма (не хочу называть её, дабы не лишить клиентов на будущее; в сущности, вреда нам не причинили, а что до легкомыслия наших сограждан, то ведь всяк учится на собственных ошибках) – итак, фирма намерена провести лотерею, где будут разыграны «автомобили и туры» (передаю дословно), а те, кому не улыбнётся счастье по-крупному, получают утешительные призы. Нам позвонят, сказала жена.

Позвонили спустя примерно месяц, мы уже успели забыть, жена засуетилась оказывается, мы выиграли! – Что? Она ладошкой прикрыла микрофон и вполголоса бросила: «Машина или поездка во Флориду.»

Невероятно! Выиграть в лотерею! Такое случается нечасто. Так что же всё-таки машина или поездка? Положив трубку, жена разъяснила: это определит финальный розыгрыш, который состоится через три дня, в пятницу, на презентации, куда мы приглашены к шести часам по адресу (она заглянула в бумажку, на которой писала) такому-то. Слава богу, прикинул я, недалеко ехать.

Как человек старого закала я плохо представлял себе действие по имени «презентация». Исходя из языка-прародителя, предположить следовало некое одаривание, хотя в русском переложении оно вполне могло обернуться чем-то совсем иным. Но когда речь заходит о крупном выигрыше, сомнение, возможно, заронившее тень в искушённую душу, наверняка потерпит фиаско. К тому же, никогда не мешает обзавестись новым – пусть даже отрицательным – опытом. Одним словом, над нашими головами пронеслась маленькая буря и быстро улеглась – решением непременно пойти. Со стороны друзей и родных, с которыми поделились мы благой вестью, были приведены некоторые похожие – не обнадеживающие – примеры, однако они были нами отброшены как не заслуживающие внимания.

Пришёл день, и мы отправились. Жена принарядилась. Я тоже было решил надеть новый костюм, но вовремя остановился. Кто знает, что там за зверь, а в повседневном всегда чувствуешь себя уютней. По меньшей мере не страшно закапать или уронить на лацкан кусочек жирного.

Ворота в рай оказались упрятаны в старом московском дворике, за фасадом одного из тех «доходных домов», которые, пережив золотую пору в начале века, к середине его превратились в ульи, наштипованные сотами-коммуналками. Пахнуло родным – все мы вышли не из гоголевской шинели, а из таких вот осиных гнёзд. Как и положено старости, она морщиניתась тут древней лепниной, трещины взрывали изъеденную непогодой штукатурку; из трёх десятков окон признаки жизни подавали немногие. Под аркой, пробитой в толще этой «скалы забвения», не горел свет. Зато в конце тоннеля он бил тысячеватно, слепя всяк выходящего к нему из тьмы и разбуженных воспоминаний. Я всегда плохо переношу такие резкие перепады освещённости, меня охватывает беспричинный страх, я знаю, что это всего лишь застарелый психоз, и даже знаю его истоки, но от этого, как говорится, не легче. Когда несколько лет назад вышли из подполья молодые адепты Фрейда, я отправился к одному из них и подвергся лечению, которое не то чтобы освободило меня от душевных смут подобного свойства, но сделало их более-менее переносимыми. Не обошлось, разумеется, без глубокого экскурса в раннее дет-

ство: там-то она, причина, и была изловлена. Однако вопреки теории окончательному изгнанию не поддавалась и теперь насылает из своего далёкого далека нечастые рецидивы. И ведь вот что странно: я почти старик, воевал, выходил из окружения, отведал участи штрафника, исколесил за баранкой пол Европы, видел во что превращает землю пресловутое «оружие возмездия»; я был тяжело болен, – но всем этим существенным (на мой взгляд) обстоятельствам лекарь не придавал ни малейшего значения. Он заявил, что война, без сомнения, прибавляет опыта, но редко делает невротиком. Хорошо упомянутые кошмары иногда становятся даже источником ностальгии, и в этом нет ничего удивительного: рядом со смертью многократно усиливается жизнь. Мы пошли дальше – вниз, вниз! – тридцать четвёртый, тридцатый, двадцать пятый. Стоп, сказал я, в год от рождения я себя не помню. Вернёмся – двадцать шестой, двадцать седьмой. . . Год «великого перелома». Дед-кулак разогнал по городам советским детей и сгинул в Сибири. Мы оказались в Москве. Отец пошёл токарем на завод Хруничева, матери посчастливилось на Силикатном устроиться в общежитие. Как там всё было я не знаю, только вскоре она уже заведовала этим пристанищем деревенских изгоев, расположившимся – за неимением других помещений – в заводском клубе. Зрительный зал освободили от кресел и поставили шестьдесят железных кроватей – пять по двенадцать в ряд. Матери дали комнату – настоящее чудо! – единственное окно которой смотрело почему-то не в мир, а было обращено в эту шестидесятикоечную спальню. Нечто вроде каптёрки, живущей остатками света из огромных – не помню, сколько их было – других окон, по ту сторону зала распахивающих небесный свод.

«Стоп, – очередь пришла сказать аналитику, – поговорим о свете». Разумеется, ведь с него мы и начали. Но там его всегда нехватало. Окна в зале зашторивались чем-то белым, в свою очередь и наше нескромно подглядывающее окошко было задёрнуто марлей, сквозь которую ничего нельзя было различить кроме теней, населявших таинственный законный мир. Кто обитал в нём? Девушки-работницы, занятые на производстве кирпича; это было женское общежитие. («Свет, свет!») Мы не были избалованы светом, зимой жили со свечкой, с керосином, летом и вовсе обходились, народ деревенский, привычный. Электричество было, но включали его нам редко, по большим праздникам – первого мая, седьмого ноября, под новый год.

И ещё давали свет по ночам в будние дни: на короткое время вспыхивала в нашей комнате лампочка под потолком на шнуре; мы просыпались, мать вставала, щёлкала выключателем, одевалась при свете, вливающимся из зала-спальни сквозь несколько слоев марли, крестилась, крестила меня, отца, остающегося лежать, открывала дверь и вышагивала за порог. В комнате повисала жуть – только так я могу назвать ту крайнюю степень страха, которую удалось вытащить из меня лекарю вместе с моим тогдашним «Я». Такой страх, должно быть, испытывают животные перед землетрясением – непреодолимый, душливый, липкий и в то же время безотчётный, беспричинный, неведомо отчего и откуда взявшийся. Там, за окном, звучали приглушённые голоса, на марлевом экране иногда возникали тени, беспорядочно двигались, исчезали и появлялись вновь, рисуясь таинственными многофигурными сценами. Могут ли нынешние, понаторевшие в халтуре «мастера триллера» представить нечто кошмарное в театре теней? Так и хочется им сказать: мелко плаваешь, господа.

Через некоторое время экран погасал, и уже в полной темноте мать возвращалась в комнату, молча раздевалась, молча ложилась, затихала. Тьма постепенно успокаивала, сердце переставало колотиться (как овечий хвост – говорила мама о себе самой), я засыпал. Скорее всего, утром я уже ничего не помнил – так забывают страшный сон при свете дня. Днём ведь всё просто. Изменения, происшедшие за ночь, были почти незаметны. . . Впрочем, всё по порядку.

Итак, из-под арки мы вышли во двор и оказались перед входом на «фирму». За витринным стеклом восседали на вертящихся креслицах трое парней в камуфляже: охранники. Хорошая охрана всегда внушает уважение, здесь она ещё вкупе с «евростандартом» в отделке дверей и видимой части «предбанника» заявляла о богатстве и респектабельности. На площадке

под лучами криптоновых могучих светильников топталась кучка избранников фортуны. Мы присоединились к ней. Жена немедленно вступила в разговор, и вскоре выяснилось: выиграла все одно и то же «машину или тур в Америку». Провеял запахок лёгкого надувательства, но отступить было поздно. Вскоре вышел на красное крыльцо молодой человек со списком и устроил переключку, после чего первая партия алчущих выигрыша была запущена внутрь. Миновав комфортабельную сторожку, мы поднялись по мраморной лестнице на второй этаж и оказались в приёмной, где нам предложили раздеться (была ранняя весна) и предъявить паспорта. Фирма, по всему, была серьёзная, а когда у тебя требуют ещё и показать паспорт, серьёзности прибавляется. Но русский человек слишком дорожит своей «краснокожей паспортиной», чтобы трепать её каждодневной ноской; за отсутствием документов сразу отселись несколько подозрительных и стали маленькой очередью у какой-то таинственной двери (я подумал – «первый отдел») – за разрешением. К ним присоединилась и оказавшаяся среди нас «незарегистрированная» пара: это уже был явный перебор – нельзя нагонять серьёзности нецивилизованными, как сейчас принято говорить, методами. Мы с женой воробьи стреляные, зарегистрированные и без документов на улицу не выходим. (А вдруг облава?) Я к тому же смахиваю малость на кавказца. Хоть и старый, но чёрный и с усами. Даже, говорят, похож на Сталина. Вдобавок ношу с собой пенсионное удостоверение – проездной билет.

Нашу одежду забрали услужливые молодые статисты и пристроили на вешалке, занявшей просцениум, ничем однако не отгороженный от сцены-приёмной. Мы первыми прошли «паспортный контроль» и ступили в актёрский зал. Три десятка изящных столиков тонули в успокоительном полумраке. У стены, где надлежало бы устроиться подмосткам, стояла вместо того обыкновенная классная доска с висящим на ней подобием большого перекидного блокнота. Над ним, под потолком, на кронштейне был укреплён телеэкран. Звучала тихая музыка.

Мы сели за столик в «первом ряду». Мы всегда старались устроиться поближе к сцене. Дурная привычка – слишком отчётливо проступает исполнительская фальшь. Зальчик быстро наполнялся, к назначенному сроку все столы были заняты, музыка стала громче, свет ярче, из приёмной впорхнула стайка нарядных девушек. К нам подседа одна из них. Она положила перед собой вопросник, представилась и начала нас бегло допрашивать, одновременно расставляя кресты в окошках, разбросанных по листу, очевидно, в соответствии с какой-то хорошо продуманной системой. Не хотелось надевать очки, я на слух пытался уловить цель и смысл этого пока не очень ясного предприятия. Что касается анкетных данных, то ничего кроме имён, возраста и рода занятий фирму не интересовало, зато всё, что только можно спросить об отдыхе, кажется, было спрошено. Как любим отдыхать? Имеем ли дачу? Как относимся к туризму? (Положительно, сказал я, но «уже не по возрасту».) К иностранному? Приходилось ли бывать за границей?

И так далее.

Когда мы добрались до конца, и все галочки, звёздочки и крестики были расставлены, наша очаровательная (должен признать) вопрошательница отодвинула наконец анкету и коротко пояснила суть дела.

Фирма занимается клубным отдыхом. Что это такое? Очень просто. На Канарских островах построили нечто вроде отеля на двести номеров – теперь они продаются: уплатив энную сумму в долларах, мы станем владельцами недвижимости, то бишь апартаментов отеля – количество комнат по нашему выбору – на определённый период времени.

Я не очень быстро схватываю новое – годы, и вообще; на помощь пришла жена: понимаешь, обратилась она ко мне, это как бы на две недели августа, или мая (или декабря, – добавила менеджерша, – там всегда тепло и можно купаться) у нас вырастала дача и снова потом пропадала, испарялась. Я представил себе нашу дачу в Опалихе – благословенные места! – и сказал: «У нас же есть дача.» Глупость, конечно, сказал. Да и тревожно как-то стало: при слове «испарялась» мне почему-то представился ещё и пожар – такое время, что и спалить

могут, за так, из чистого озорства, брать там особо нечего, я всегда оставляю дверь незапертой, а в холодильнике – несколько бутылок водки и копчёную колбасу – на закуску. Входите, люди добрые, пейте, ешьте на здоровье, только Христа ради не жгите. Другой дачи уже не куплю и не построю. А у нас дети.

Вот о чём подумал я при словах «испарилась дача» и так разволновался, что, вероятно, многое пропустил из рассказа об условиях, а когда снова, как говорят нынче, врубился, речь шла о цене. Которая, конечно, зависела от размеров помещения и сезона – золотого, изумрудного, бархатного... какого то ещё, я не запомнил. В противовес мгновенному, в сущности, не оправданному беспокойству я настроился на шуточный тон и спросил у девушки, не бывает ли там сезона мертвого – он подошёл бы нам больше других. Нет, шутки были здесь неуместны: обе дамы посмотрели на меня с осуждением. Я поспешил исправиться и поддакнул в подтверждение прелестей этого райского уголка, который знаю, заметил я, по рассказам свата, что в бытность его службы в «научном флоте» неоднократно там побывал. Сказочный Тенериф, гора Маунтеде – ведь это потухший вулкан, не правда ли?

Жена в нетерпении меня перебила: надо решать. Что? – не понял я. «Берём – не берём?» – жена посмотрела на меня в упор, я увидел: глаза у неё затуманились, в них забрезжила морская даль (они у неё голубые), а по обводу зрачка словно обрисовался зелёный, изрезанный бухточками и пляжами канарский берег. Она ещё слишком молода и не в меру мечтательна, хотя уже бабка (говорю я иногда в целях отрезвления), чему подтверждением наш трёхлетний внук.

Сказать по совести, я растерялся. Откуда же мы, два пенсионера, возьмём пятнадцать тысяч баксов? Она сошла с ума!

Что? Продать нашу опалиховскую дачу? Никогда!

– Опомнись! – я накрыл её руку ладонью, – мы просто не туда попали, это ошибка, ловушка, понимаешь? Не про нашу честь...

В это время к доске со спецблокнотом выбежал человек, похожий на одного из тех серийных телегероев, что прельщают нас по вечерам коммерческой романтикой. Седоватый бобрик, гладко выбритая мордашка, костюм с иголочки – и (я облегчённо вздохнул) по-русски нечищенные ботинки. Я всегда говорю – не надо садиться в первый ряд.

Ладно. Послушаем, решил я, всё равно вечер потерян. Какая-то звуковая мерзость, изливаемая на нас под видом музыки, убралась наконец, и в тишине полился медоточивый голосок новоявленного пропагандиста. Теперь завелась речь о тех поистине баснословных выгодах, которые сулило вступление в «клуб» нам и нашим потомкам. Человек у доски (он представился главным менеджером) виртуозно разбрасывал цифры на бумажных полях, производил в уме сложные вычисления, большой чёрный фломастер в его руке был похож на дирижёрскую палочку, но в целом это больше смахивало на трюк иллюзиониста. Меня клонило в сон. Если бы не машина «в конце тоннеля» (давно пора было заменить нашего старого «волгаря», да и тур во Флориду – тоже неплохо) – если бы не искренний интерес к этому представлению, внезапно проявившийся у жены, то я немедля покинул бы сие благородное собрание. Я почувствовал, как жена снова забеспокоилась, я всё ещё держал её за руку и теперь ощутил нечто вроде нервного тока, пробежавшего по моей ладони слабым разрядом.

Кроме нестерпимо яркого света, который преследовал нас тут повсюду, начиная от проходной, меня раздражало ещё что-то, чему я не сразу нашёл объяснение, а найдя, ещё раз подивился своей прихотливой памяти. Само слово «клуб», уже много раз тут произнесенное, – вот что резало моё бедное ухо, как обычно режут грязные ругательства, употреблённые не к месту или не ко времени. Слова хранят в себе некую тайную окраску, приобретаемую в тот момент, когда входят в наш собственный лексикон; одно и то же слово может быть совершенно по-разному окрашено для двух разных людей. Как бы например ни пытались поклонники русского мата легализовать его в литературе, грязь и кровь, с которыми он чаще всего вторгается в нашу жизнь, отмыть невозможно. Для меня таким шокирующим, едва переносимым на слух всегда

было обыкновенное русское слово «клуб». В этом нет ничего удивительного – я сказал уже: мои самые нежные детские годы прошли в клубе, и там тогда тоже часто повторялось это слово – несмотря что по сути мы обитали в общежитии, все называли его только так: *клуб*.

А теперь – Ист Голд Клуб – вот как это называлось на Тенерифе. Когда после часа экономических разглагольствований Главный Менеджер уступил наконец место телевизору, я почувствовал, что терпению моему приходит конец. Хотелось есть и пить, два стаканчика пепси, которыми нас угостили фирмачи, даже не извинившись за свою скаредность, только ещё больше обострили тоску. Но прежде чем мы получили наглядное доказательство райской жизни на берегах Атлантики, перед лицом честной компании выбежал ещё один мужичок, помоложе, и прокричал в зал для девочек, которые снова были готовы за нас приняться – проблеял нечто в смысле – такой-то и такой-то клубные номера с продажи снимаются. Кто-то не выдержал натиска и уже купил? Я оглянулся. За двумя столиками в разных концах зала наблюдались трогательные сцены: счастливым покупателям пожимали руки счастливые продавцы. Главный бобрик был, разумеется, там же, он как-то странно суетился, перебежал от одного счастливец к другому, вывел их наконец в проход между столиками и жестом спортивного рефери, вздымающего вверх перчатку победителя, взял за руки обоих и объявил победу всеобщую. Деньги на бочку: новых владельцев недвижимости немедленно увели, чтоб отвезти по домам и там получить с них плату. Всё наличными.

А мы вернулись к нашим баранам. Свет погас, замерцал экран под потолком, и распахнулась морская даль, загалдели вездесущие чайки, белый город вырос под красными черепичными крышами – Санта-Крус де Тенериф. Волшебное зрелище! При виде таких картинок-«симулякров» (я не чужд веяний современной мысли) память обычно переносит нас в некоторые точки пространства-времени, которые можно было бы, как говорят математики, поставить в соответствие видимому «здесь-и-теперь». Благословен тот, у кого есть куда вернуться: дом, страна, семья... Что до меня, то я всегда в таких случаях оказываюсь в Италии. Удивительно, неправда ли? Мне и самому до сих пор не верится. Ещё наглухо был задёрнут железный занавес, и мы изо всех последних натужных сил готовились к войне с «империалистами», а я тем временем как по мановению волшебной палочки перелетел в Рим. Произошло это чисто порусски: не было бы счастья, да несчастье помогло. Если в двух словах – я заболел, мне поставили диагноз, который не оставлял почти никакой надежды на исцеление: миелобластный лейкоз. Анамнез, впрочем, был абсолютно ясен – я схватил, как у нас говорят, слишком большую «дозу» – оружие возмездия чаще всего мстит своим создателям. Как это ни странно, советская медицина, преуспевшая во многом другом, не умела тогда справляться с этой жестокой хворью. Но я был ещё нужен стране, и страна в лице генерального секретаря (ни больше, ни меньше!) милостиво позволила мне пролечиться в Италии. И даже снабдила командировочными. «Режим», было вцепившийся в мои ягодицы мёртвой хваткой, потерпел неожиданное фиаско. А мы ещё набрались наглости (имею в виду себя и своё Предприятие) и, ко всему, протащили через ведомственные рогатки мою жену как провожатую «ввиду тяжёлого состояния больного». Занималась розовая заря Перестройки – многое стало необратимо. Мы сели на самолёт и через три часа приземлились в Риме.

Только теперь, заскочив ненароком в область воспоминаний, я сообразил, чему обязаны мы приглашением на эту хитроумную «презентацию». Ведь мы были за границей! Свидетельство нашего достатка отразилось в анкетках, что мы заполнили раньше, теперь из нас по капле «выжимали признание».

Новая философия права лишь отчасти. Телевизионные «симулякры» хотя и обманывают в том смысле что создают ложное ощущение «присутствия», тем не менее способны вызывать к жизни воспоминания, упакованные в прошлом опыте. Вряд ли неискушённый «потребитель картинки» испытывает что-либо, кроме лёгкого содрогания при виде трупов и крови, заснятых документалистами на чеченской войне, – ведь это как нельзя лучше вписывается в «некроэс-

тетику» нынешнего кино. Но если ты однажды испытал неподдельный ужас от подобной «картинки» вживе, то он будет просыпаться всякий раз – в том твоём «Я», – разбуженный «симулякром». На дворе девяносто пятый, когда жена смотрит телевизионные новости, я ухожу в другую комнату.

Это к слову. То, что нам демонстрировали сейчас, напротив, не доставляло ничего кроме удовольствия. Санта-Крус показался нам со стороны набережной донельзя похожим на Венецию в окрестностях Дворца Дожей. Клубные апартаменты, ждущие покупателей, расписывались в мельчайших деталях, вплоть до итальянской сантехники (она-то была нам знакома!) и необъятных кроватей, подобных той, что восхитила нас в римском пансионате у вокзала Термини, где мы остановились по приезде. Я даже с теплотой вспомнил больницу Salvator Mundi, хотя сам процесс лечения не мог оставить по себе приятных воспоминаний: меня кололи и пичкали всякой дрянью, призванной обороть порчу, и довели до такого состояния, что я лежал пластом, не в силах пошевелиться, и жена приходила каждый день и ухаживала за мной, как за малым ребёнком. Но когда всё же я встал с постели, то даже ощутил прилив сил, позволивший мне взобраться на купол собора Святого Петра и бросить оттуда взгляд на Вечный город. Вероятно, я был слишком измучен месяцем непрерывных процедур – или просто жизнью? – для того чтобы оценить по достоинству его красоту; и нелепая до отвращения мыслишка скользнула в мозг: одного нашего «изделия» с лихвой достало бы стереть с лица земли этот город-символ европейской цивилизации. Таким он показался мне маленьким и беззащитным. Подумать только! – что за печаль, что за злость овладели мной при виде овеществлённой благодати на дальних берегах. И чего это я так разволновался? Ну ещё добавился ко всему маленький русский обман – велика ли важность? Оставалось досмотреть совсем немного, конец комедии – лотерею («Машина или тур в Америку»). Не успел ещё погаснуть экран, и гора Маунтеде ещё призывно маячила на горизонте, где океан сливается с небом, как на сцене опять появился Главный и попросил назвать несколько цифр. Из зала стали выкрикивать, фломастер забегал по чистому полю и вскоре на нём образовалось семизначное число. Присутствующие должны были извлечь из бумажников денежные купюры достоинством в пятьдесят или сто тысяч и сравнить их номера с числом на «доске». Те, у кого совпадут первые четыре цифры, выигрывают машину. (Я прикинул: вероятность близка к нулю. Что и следовало ожидать.) Все остальные – «тур в Америку». Ура! Мы выиграли тур в Америку! Жена – неисправимая оптимистка – радостно сжала мне пальцы: «Почему ты не радуешься?» Пойдём отсюда, сказал я. Не хочу чтобы меня снова надули.

Свет, заливший зальчик по окончании фильма, вновь показался мне слишком ярким. Я подумал, что надо бы рассказать жене, уж коли я вспомнил об этом, – пожалуй, в другой раз не захочется. Есть тайны, который мы храним от близких, в сущности, безотчётно. Ну почему, спрашивается, не рассказать о происхождении (пусть даже гипотетическом) этой моей странной – действительно странной! – как она её называет, «фотофобии»? Нет ничего проще: передать рассказ матери (сам-то ведь я не помню) – о том как по ночам подъезжал «воронок» и входили – сытые, весёлые, красивые, в кожанках, в шинелях, – входная дверь должна была всегда оставаться незапертой, – чекисты, втыкали рубильник на щите, и спальный клуб, а заодно комнатёнку «начальницы» (через несколько слоев марли) заливал яркий, непривычный, режущий глаза свет. И – ужас. Девочки лежали, натянув одеяльца до самых глаз, а мужчины шли по проходам и вели отбор: иногда жестами приказывали встать и одеться, иногда одеяло сбрасывалось на пол, но жертву оставляли в покое, шли дальше. Отобрав пять-шесть наиболее привлекательных, уводили с собой. Больше этих несчастных никто никогда не видел. Освободившиеся койки быстро заполнялись новыми постоялицами. Мать рассказала мне это в один из периодов короткого просветления, когда я, уже взрослым, навещал её в сумасшедшем доме. Там она и умерла вскоре после войны.

Но я отвлекся. Машины из присутствующих никто не выиграл. Ещё троих увели на расплату. Судя по всему, торговля клубными номерами шла хорошо. Наша застольная пропагандистка заполнила и вручила нам «путёвку» на два лица, по которой нам позволялось неделю прожить в Майами в двухзвёздочном отеле бесплатно. Всё остальное – за свой счёт. Мы поблагодарили и ушли. Жена заботливо спрятала бумагу в свою театральную сумочку.

Дома я внимательно всё перечитал: получалось нам явно не по карману, мы не имели такого «счёта», чтобы оплатить из него дорогу и питание. Мы даже посмеялись немного. Я объяснил жене: в своё время Сталин построил «государственный капитализм» (я недавно где-то прочёл), а то что мы держим в руках, – «капитализм с человеческим лицом», – тоже не сахар. Хотел добавить аргументов «родом из детства», но было уже поздно, первый час ночи. И вообще... Я порвал обманку на мелкие клочки и выбросил в мусорное ведро. Жена пошла спать, а я еще выпил коньяка и посидел немного на кухне.

В порту

Канарские острова встретили их прохладой, какой-то необыкновенной прозрачностью воздуха и тишиной. После шестисуточной болтанки в Бискайском заливе жизнь на корабле снова пришла к своей неторопливо-сонной норме, затаилась по каютам, а в порту и вовсе, казалось, в изнеможении замерла, чтобы за несколько вечерних и ночных часов набраться сил для броска на берег.

Самые любопытные, однако, выползли из своих кондиционируемых нор на палубу и стояли у борта, любясь белым городом в лучах закатного солнца. Снежная шапка Маунтейде возносилась на чистейшем голубом фоне, нависала над зелёной стеной растительности, уступами домов и будто даже клонилась к океану в неизъяснимой игре пространственной и воздушной перспектив. Совсем по-сезанновски, подумал Воронин и тут же почему-то вспомнил название читанного давно романа: «Край безоблачной ясности». Хотя и не об этих местах он повествовал. Что и говорить, Санта-Крус был как всегда великолепен.

Научно-исследовательское судно «Академик Николай Андросов» завершало свой шестимесячный рейс из Владивостока в Николаев, где должно было надолго стать на прикол: его большому, измученному океанскими стихиями телу требовался капитальный ремонт.

Рейс был труден. Не столько работой (для людей, любящих своё дело – а все они были такими, – работа всегда отрадна), сколько преследующей экспедицию непогодой, глупыми неполадками в снабжении, «разбродом и шатаниями» в коллективе, а главное – самой своей изнуряющей длительностью, не окупаемой даже пятью стоянками – эта была шестая – в самых знаменитых мировых портах. Кто не совершал никогда кругосветного плавания с научными целями, тому не понять всей утомительности данного предприятия.

По громкой связи объявили сбор в салоне капитана: прибыл агент. Теперь им отдадут остатки причитающейся валюты и на три дня, как любит говорить его сосед по каюте Саша Варфоломеев, «город на разграбление». А Воронин шутил в ответ: устроим варфоломеевскую ночь. Э-э-х, мечтательно тянул Саша, провести ночь в портовом кабаке, а на рассвете завалиться всей шоблой в публичный дом! Это был не первый его рейс, но через месяц после выхода из Владивостока Саша уже плакал по ночам – тосковал. По молодости лет (и по глупости – добавлял Воронин) он ещё не обзавёлся семьёй и наверно с грустью думал, что, утони он на этой дурацкой посудине – и ничегошеньки-то после него не останется.

Под руководством старпома обычная процедура прошла быстро и без толкотни. Воронин получил на руки двадцать тысяч песет. За ужином в кают-компании третий помощник капитана напомнил правила поведения на берегу, и все, кроме вахтенных, снова расползлись по каютам. Как всегда в тропиках, чёрным покрывалом неожиданно упала ночь. Там, где был город, вспыхнуло неоновое зарево, заплясала неусыпная реклама. Над огнями тяжёлым пологом простёрлась абсолютная чернота, она поглотила величественный вулканический конус, и только его снеговая вершина теперь плыла, мерцая, среди звёздных скоплений. Дался мне этот вулкан, думал Воронин, куря перед открытым иллюминатором. Обыкновенная гора. В кратере, говорят, озеро. Ну и что? А то, что он здесь уже пятый раз, и опять обещанная экскурсия отменяется по неизвестной причине. Впрочем, ясно почему. У них теперь одни дрязги на уме.

– Саш, – сказал Воронин, не оборачиваясь, – давай завтра на берег махнём.

Варфоломеев сидел за столом в кружке света от лампы, прикрепленной на кронштейне к стенке каюты, и мучительно – это чувствовалось даже на расстоянии – балансировал над пропастью необходимого с коротеньким шестом напоследок отпущенной валюты. Всё то же и оно же, подумал Воронин, не получив ответа. Джинсы, куртки, часы, кассеты, видеосистемы. Подарки родным и друзьям. Бизнес. Таможенные ограничительные списки. Со всем

этим нелегко сладить. Тут нужен поистине ум экономиста. Хотя, кажется, молодёжь неплохо справляется с проблемой.

- Саш, – снова позвал Воронин, – а ты заметил? – кэптена опять не было.
- Угу, – отозвался наконец Варфоломеев.
- Доиграется, – сказал Воронин.
- Считай, доигрался уже.

Варфоломеев разговаривал, продолжая общаться с карманным калькулятором. Он решал экстремальную задачу.

Воронин первый раз плывал с капиталом Тютюником. Тот был назначен Ленморрагентством год назад, за это время успел сделать два экспедиционных рейса и приобрести дурную славу алкоголика. Но его почему-то не трогали – должно быть, руководствовались хорошей русской пословицей: пьян да умён – два угодья в нем. А ведь и капитан слабый, подумал Воронин, не мастер. Во всяком случае, швартоваться он не умеет. Вот уже шестая стоянка, и шестой раз Тютюник запирается у себя в каюте, сказавшись больным, и вылезает на мостик за пять минут до отплытия, помятый, но «без запаха». И чем он его отбивает, одному богу известно. Да всё б ему сошло и на этот раз, если не третий помощник и примкнувшая к нему оппозиция. Третий был тоже «новеньким», но с первых шагов заявил о себе как о человеке твёрдом, принципиальном и не желающем мириться с царящим на судне «морально-политическим развалом». Надо признать, он действительно взял ситуацию под контроль и поднял, что называется, воспитательную работу на должный уровень. Им были немедленно опознаны все любители «шила», все подозрительные компании взяты на учёт, все любовные парочки предупреждены о недопустимости аморального поведения на море. Периодически проводимые облавы призваны были укрепить созданную систему. Одним словом, на судне царил «режим». Третьего боялись, ибо знали, что от него во многом зависит, кто будет плавать и дальше, а кого спишут на берег.

Один лишь капитан Тютюник, казалось, не обращал на своего помощника никакого внимания. Когда на первой же стоянке в Шанхае капитан своим поведением подтвердил известную истину, что «рыба с головы тухнет», третий помощник объявил ему открытую войну. И вскоре не только судовая команда, но и «технари» – инженерная группа и участники экспедиции-«учёные» – оказались расколоты на два противостоящих лагеря. Что было раз и навсегда квалифицировано капитаном как «бунт на корабле». Третьему помощнику обещали по прибытии в порт приписки «немедленное изгнание с позором». Впрочем, что касается Воронина, то он был далеко не уверен, что не выгонят самого капитана.

Как бы то ни пошло дело, для Воронина это было последнее в его жизни океаническое плавание. Он это знал почти наверняка, но, пожалуй, не испытывал особых сожалений, разве что лёгкую грусть оттого что вот так и не заглянул в кратер Тенерифа. За двадцать лет работы в девятнадцати экспедициях он вдоль и поперёк избородил Мировой океан и понимал, что ничего нового уже не увидит, кроме тех, может, признаков неизлечимой – так он думал – болезни, которая исподволь неумолимо просачивалась в эту прекрасную, но такую беззащитную стихию вместе с миазмами человеческой цивилизации. Двадцать лет жизни посвящено науке, создано, можно сказать, новое направление, но главное, что добыто, – не учёные титулы, не сотня без малого печатных трудов, не уважение коллег, а острое осознание тщеты, никчёмности затраченных усилий, невозможности остановить гибель Океана, ощущение собственной беспомощности. Здоровье на исходе, корабельный быт уже становится неважною, сердце, нервы, желудок, печень всё чаще отказывают в повиновении, ещё немного, чувствовал Воронин, и произойдёт срыв. С каждым разом всё труднее уговаривать медкомиссию о выдаче разрешающих документов, да и надо ли это делать? Пора и молодёжи дорогу дать. Таким как Варфоломеев, Рогов... Хорошо образованным, способным, рвущимся в бой «на мировую арену». А кроме того, впервые за всю свою экспедиционную жизнь Воронин допустил «про-

кол» по части режима. В одной из облав замполит застукал его в каюте с бутылкой виски в одной руке и стаканом в другой – в тот самый момент, когда после целого дня изнурительной работы на палубе Воронин собирался подкрепить силы глотком божественного нектара. Да вот незадача – не заперся, забыл, верно, склероз уже. Хорошо, что Сашки не было, а то бы и ему не поздоровилось. Ну и ко всему налицо «тайное пронесение на борт спиртных напитков», с некоторых пор – тягчайшее преступление. Истинно русская черта, подумал Воронин, остервенело пить и так же остервенело каяться. Это событие как бы одним только фактом своего свершения поставило Воронина в ряды сторонников капитана. Хотя, в сущности, все эти распри были ему глубоко безразличны, хватало своих проблем: ведь именно теперь, когда он почувствовал что с экспедициями пора кончать, открываются какие-то новые горизонты, буквально дух захватывающие грандиозностью возможных там научных открытий. Созданный ими лазерный локатор позволил обнаружить тонкие физические эффекты в придонных слоях, вызываемые, по предположению, «нейтринным ветром», свободно проникающим через толщу земного шара. Здесь – работать и работать! Ну что ж, ребятам и карты в руки. Что-что, а работать они умеют. Ещё академиками станут. Если Сашка не производит вычислений по известной схеме «деньги-товар-деньги», то значит вкалывает на палубе или корпит над составлением заявки на открытие. Так же и Рогов. Воронин докурил сигарету и машинально выщелкнул окурок в иллюминатор. И тут же пожалел: такое в порту грозило штрафом.

Ночью Воронину, как обычно, снился дом, дети, жена. И совсем уже под утро, перед пробуждением – вулкан, изрыгающий огонь, пепел и потоки раскалённой лавы. Воронин испугался во сне, проснулся и, приподнявшись на локтях, посмотрел в иллюминатор. Оснеженная вершина в лучах восходящего солнца была похожа на кремовый торт, изготовленный для чаепития в географическом обществе. Конус, подумал Воронин, едва ли не самая символическая из всех геометрических форм, одновременное выражение устремлённости и схождения все путей в точку, в ничто. Символ человеческой жизни.

Бреясь в умывальнике, одеваясь, Воронин в деталях обдумывал план, зародившийся ещё вчера, как ни странно, в ту минуту, когда старпом аккуратно сложил перед ним стопочку зелёных купюр с изображением испанского короля, и он, не пересчитывая сунул их в карман, ощутив на ладони приятный холодноватый глянец. Деньги, должно быть, всегда будят воображение, порождают планы, придают уверенность. Хорошая сила, подумал Воронин. Если ты не родился разрушителем, не воспитан им, деньги вызывают желание открывать, строить, помогать. На этот раз он не упустит возможности. Последний шанс, и он должен его использовать. Один так один, тем лучше. И не стоит смущать ребят на их взгляд безусловно глупой затеей. Вечером он сядет на автобус и доедет до «Приюта конкистадоров». Там переночует, а завтра совершит восхождение с очередной группой туристов под руководством инструктора, он всё уже разузнал, полное снаряжение, они спустятся поздно вечером, ещё одна ночь в отеле, и утром третьего дня он вернётся на судно. Денег у него больше чем достаточно. Воронин ощутил прилив бодрости и, прежде чем отправиться в спортзал, отдернул шторку верхней коечной ниши, где, лёжа на спине, младенчески-бесшумным и, по всему, глубочайшим сном спал Варфоломеев. Воронин легонько потряс его за плечо.

– Саш, пора на берег. Испанские женщины ждут тебя. Эй! Красные фонари горели всю ночь. Эй, подъём! Индийские купцы уже открыли двери своих лавок. Поторапливайся!

Варфоломеев зашевелился, пробормотал что-то утвердительное и отвернулся к стене. Пятнадцати минут воронинской разминки обычно хватало ему, чтобы встать и привести себя «в боевую готовность». С лязгом захлопнув за собой дверь каюты, Воронин двинулся коридором, по привычке широко расставляя ноги на резиновых, один за другим уложенных ковриках и держа наготове локти, чтоб не застал врасплох и не бросил на пластиковую стену набежавший девятый вал: слишком свежа была память о свирепом бискайском шторме. У трапа на верхнюю палубу задержался и, вернувшись к последней из шести пройденных дверей, постучал

в каюту Рогова. Щёлкнул замок, и в распахнутом проёме возникла богатырская фигура второго воронинского «сподружника» («друг-сподвижник-подчинённый» – так раскрывалось это новое понятие, введенное Ворониным в целях установления адекватности, как он говорил, явления с именуемым его словом). В свои тридцать с небольшим этот белокурый, бородатый, добродушный увалень многого успел достичь. Не в пример щуплому и прожорливому Сашке, он отличался необыкновенной работоспособностью, мог сутками не уходить с палубы, посмеивался над морской болезнью, когда все, даже матросы, висели на бортах, и до чрезвычайности мало ел, ссылаясь на свою склонность к полноте. Да, мысленно соглашался Воронин с автором недавно прочитанного «Моби-Дика», настоящая сила произрастает не на хлебе и мясе. В ответ на приветствие Рогов потрянул курчавой головой, шагнул за порог и осторожно, чтоб не разбудить соседа, притворил за собой дверь. Сам он, возможно, и не ложился. «Готов?» – «Ну.» – «Иди, поднимай Сашку, я быстро.» – Воронин взбежал по трапу и, очутившись на открытой палубе, глубоко вдохнул океанскую живительную прохладу.

Ровно в семь они спустились по приставной железной лесенке, миновали будку вахтенного матроса и двинулись вдоль пирса к выходу в город. Обычный утренний корабельный чай и хлеб со сливочным маслом сегодня казался им такой же дикостью, как например могла бы показаться овсяная каша, поданная в кафе «Арагви», куда они обычно отправлялись по возвращении домой. Нагуляв аппетит, они позавтракают сегодня в «Барселоне»: устрицы, спаржа, голуби в сметане, по парочке «мартини», ещё что-нибудь фирменное. Издевается он что ли? – спросил Варфоломеев. Такой завтрак – это же двое джинсов, да в придачу штук пять электронных часов. Нет, им это не подходит. Они перекусят в «стоячке» яичницей с беконом и выпьют – это можно себе позволить – по две чашки настоящего кофе. Воронин испытующе взглянул на Рогова – тот, кажется, вообще может не есть, не пить. «Водочки возьмём?» – любимая воронинская подначка. «А как же!» – в голосе Рогова прозвучало наигранное воодушевление. «Сначала к Радже!» – твердо заявил Варфоломеев, как всегда беря на себя руководство береговыми действиями их «тройки». Его экономическая сметка, знание конъюнктуры, цен и таможенных перечней, да и просто удачливость давно были признаны старшими товарищами. Советы Варфоломеева в иностранном порту были так же ценны, как воронинские – в их упорном совместном наступлении на бастионы нейтринной космофизики. Не следует забывать также, что в нынешнем путешествии это был их последний иностранный порт. Ещё месяц работы в центральной Атлантике, и они отправятся домой.

Они шли по авениде дель Кампо, направляясь к магазину для русских моряков, хозяин которого – Раджив, выходец из Индии, – был давним знакомцем Воронина. Почему-то большинство торговцев в Сантьяго-де-Тейде – «индусы» (так называют их русские, скопом зачисляя в одну касту), они приумножают купеческую славу предков, пользуясь тем – рассуждал язвительный Варфоломеев, – что выродились по причинам политэкономическим русские купцы, их давние, со времён Афанасия Никитина, конкуренты. Или ударились в науку, добавил Рогов. Когда он получит Нобелевскую премию, сказал Варфоломеев, то на эти средства откроет здесь магазин. Прогоришь, сказал Рогов, ностальгия выест твои купеческие таланты, и ты разоришься.

Город туристов, город-курорт мягко втягивал их в своё лоно, обтекая пёстрой разноязыкой толпой, дразня витринами, подмигивая рекламой, вливая упругую земную силу в ноги, отвыкшие от долгой ходьбы, обступая со всех сторон женской плотью, глазами, смехом. Русские моряки, подумал Воронин, – они ведь, в сущности, тоже моряки, несмотря что делают нечто отличное от судовождения, – выпадают из освящённой традициями схемы портовых развлечений: кабак – дансинг – бордель – снова кабак, тут возможны перестановки, но смысл один – встряска, преодоление гнёта монотонности, освобождение от вредоносной, накопленной воздержанием энергии. Мы супермены, говорит Рогов, мы новые люди, мы дети антиутопии, и спид нам нипочём. Все мы невротики, подумал Воронин. Свидетельство тому – урод-

ливый ползучий бунт на этом сверкающем белизной океанском лайнере, который напоминает о себе каждый раз, когда в просветах между домами открывается вид на порт. Гордый профиль корабля, как это часто случается с человеческими лицами, скрывает мелочную, ничтожную душу. Мы ходим «тройками», чтобы следить друг за другом, чтобы не попасть в лапы мифических провокаторов, не стать жертвами чьей-то ненависти. Тройка – наш архетип, мрачный символ коллективного бессознательного. Сегодня он разорвет эту отвратительную противостественную связь. В конце концов, имеет человек право побыть в одиночестве? И гори оно всё синим пламенем!

Индиец встретил их сияющими улыбками, как старых и самых дорогих друзей, с которыми судьба разлучала его по несправедливости и надолго, а теперь наконец смиростивилась и дала обрести вновь. Они и были друзьями – продавец и покупатели, самой историей раз и навсегда поставленные в отношения дружественного партнёрства. Раджив обнял Воронина, прижав на секунду к своему искреннему восточному сердцу, и повёл их в патио, где напоил настоящим «Греем» и накормил чем-то необыкновенно вкусным, напоминающим грузинские чахохбили, но, как выяснилось позже, когда они уже пили кофе по-турецки, было всего лишь американскими соевыми котлетами. Зато можно было теперь не думать о завтраке, а мысль о сэкономленных песетах приятно увенчивала трапезу. К тому же перед началом её гостеприимный хозяин выставил пятилитровую, оплетенную тростником бутылку кальвадоса, а так как до совершения купли-продажи молодёжь пить категорически отказалась, а Воронин позволил себе только одну рюмку, то было решено, что водку они заберут с собой в качестве подарка. Раджа, как окрестил его Варфоломеев, так хорошо зарабатывал, сбывая русским залежалый товар, что мог позволить себе делать подарки всем своим покупателям. Общение было тем более приятным, что индиец свободно говорил и ещё более свободно ругался по-русски, приводя в восхищение своих друзей из далёкой северной страны свежестью выговора на её *lingua maternalle*. В торговом зале, напоминающем больше склад готовой продукции фирмы с универсалистскими претензиями, высились горы текстиля, пролегали тоннели меж стеллажами с электроникой, открывались россыпи безделушек. Воронин вышел на улицу, сел в раскладное кресло под тентом, защищающим витрину от солнечных лучей, закурил. Было десять часов утра. Отдыхающая Европа тянулась к пляжам в разреженной тени пальм, тамариндов, магнолий, образующих вдоль неширокой улочки зелёный коридор, по бокам подсвеченный белизной одноэтажных фасадов и оживляемый густо проступающими сверху пятнами красных крыш и синего неба. Никогда ни один портовый приморский город, в какой бы части света он ни располагался, не напоминал Воронину какого-то другого города, порта в иной стране, под иными далёкими небесами, но все они так или иначе заставляли вспомнить Ялту, Сочи, Сухуми, даже Анапу, где он часто бывал в детстве с родителями и которую к изумлению своему и восторгу нашёл однажды на Кипре. Несмотря на разницу в широтах, этот город чем-то напоминал ему, возможно рельефом, Владивосток, откуда они отплыли полгода назад и где стояла тогда неимоверная тропическая жара. А ещё в это время года, в свой бархатный сезон – сентябрьскую Ялту. Где бы мы ни были, нам везде грезится дом.

Не вставая, повернувшись только чуть в уютном кресле, Воронин мог видеть через витринное стекло, как разыгрывается представление на подмостках коммерции. Это была настоящая торговля! Битва страстей! Столкновение могучих инстинктов, умов и некоторых особенно полезных в такой борьбе моральных принципов, по-видимому, привлекаемых обеими сторонами для разрешения ситуаций заведомо тупиковых. Казалось, торговец использует все средства классической пантомимы, превознося до небес качество товаров, но и покупатели не лыком шиты: они похожи на двух кротов, роющих свои ходы во всех направлениях и отыскивающих в выброшенной их неутомимыми лапками земле жемчужные зёрна. Воронин с грустью подумал, что никогда не умел вот так вдохновенно торговаться. А теперь уж никогда и не научится. Теперь ему это не нужно.

В самый разгар пьесы оба друга одновременно посмотрели на него через двойное витринное стекло поверх выполненного с изяществом макета острова Тенериф и призывно замахали руками. Отрицательным жестом Воронин дал понять, что торопиться некуда, он курит и займётся тем же несколько позже. Была бы честь предложена, говорим мы в таких случаях.

Всё имеет конец; кончился и торг, и – по всему было видно – добрым согласием сторон. Минуту назад беззвучно атаковавшие друг друга «стороны» выкатились на порог в обнимку, не желая разнимать объятий, застряли в двери и, всё же преодолев её косное сопротивление, триедино сплочённым строем предстали перед лицом улицы. Решили, что покупки заберут на обратном пути, «в любое время дня и ночи», сказал торговец, он может прислать с посылным прямо на корабль, нет, мы сами, ещё два с половиной дня впереди, может, и не потрагитесь, тогда всё твоё, до последней песеты, ещё Иваныч свои подкинёт («Верно, Иваныч?»), «видюшку» приготовь ему, «Филипс», вот теперь можно бы и по глоточку, тащи, Сашка, бутылку, по-русски, из горла, быстро, а то сейчас наши мужики нагрянут, эх, дорогой, наторгуешь сегодня! спасибо, Иваныч, не забываешь, товар я тебе оставляю, не пожалеешь, у себя за большие деньги продашь, ну, по кругу, поехали, начинай, Сашок, ты не пил, ты и начинай. Валька тоже не пил, по три глотка, мне один, а то развезёт на жару, Раджив, будешь? нет, мне работать надо, сейчас ваши набегут, бутылку спрячь, чтоб не видели, у нас народ ушлый, ну, не прощаемся, айда, ребята...

Они двинулись вниз по улочке, чтобы выйти к центру города по ту сторону холма, где располагался район увеселений. Уже давно было договорено, что Воронин покажет им всё здесь самое интересное, а что может быть интересней, чем наблюдать, как развлекается местное население, а возможно и самому принять участие в развлечениях в чужой далёкой стране, если это тебе, конечно, по карману. В сущности, везде примерно одинаково: люди ходят по улицам, что-то рассматривают, фотографируют, сидят в кафе, пьют в меру своих возможностей, танцуют – иногда прямо на улицах, завязывают знакомства, ходят в гости, в кино, в театры, в концерты. Наконец, женщины...

Здесь-то и была заковыка. Нет, наши герои не замыслили удариться в загул, заведения с красными фонарями и кабаки со стриптизом были только поводом для весёлых шуток: подписка есть подписка; как говорится, давши слово – держи, а не давши – беги; а если давший слово бежит – ему вдогонку стреляют и всегда без промаха. «Шаг вправо, шаг влево считается побегом,» – напоминает Рогов. Ну, полшажочка, ну хоть четверть, молит Варфоломеев. Шутят ребята. Ведь уже давно решено всё, и теперь они ведут себя, как заговорщики, которые, начав действовать, ещё немного нервничают и заглушают страх истерической болтовнёй. Иванычу всё едино, говорит Варфоломеев, он завязывает, а нам с тобой, Валька, не поздоровится. «Настучу, обязательно настучу,» – подтрунивает Воронин, украдкой подглядывая за тем, как на молодых лицах играют полутенями сменяющие друг друга чувства. На углу виа Сандакан и авениды дель Кампо Воронин останавливается:

«Последний раз спрашиваю: идём или нет?», Идём, следует не очень быстрый, но решительный ответ. Они поворачивают направо и, пройдя ещё несколько домов, скрываются под аркой небольшого строения, на фасаде которого люминесцирует реклама «лучшего в округе видеозала».

И только-то? – спросит разочарованный читатель. Он уже, разумеется, понял, что, зайдя в уютную кабину с мягким креслом, наполненную до краёв льющей от куда-то сверху, из-под голубого купола ароматной прохладой, – войдя туда с горстью мелких монет и удобно устроившись перед телеэкраном, можешь вдоволь насладиться в одиночестве запретным зрением плотской любви. Да и не запретным вовсе. То есть конечно запретным с точки зрения «режима», но, скажем честно, легко доступным у нас всякому, потрудившемуся оснаститься современной техникой. Не посетуйте! – вы забыли о том, что наши герои молоды и к тому же полгода были оторваны от дома, пребывая в изнурительных режимных условиях, когда пова-

рихи, уборщицы, официантки и учёные дамы из состава экспедиции вынуждены любить своих избранников тайком, да и того женского персонала до обидного не хватает. Никогда нельзя сбрасывать со счетов, что человек хоть и разумное, но всё-таки животное.

Итак, они разошлись по кабинкам, договорившись через час-полтора встретиться в холле. Было бы, однако, излишне затевать рассказ только ради того, чтобы упомянуть при удобном случае о некоторых подробностях быта, который кажется столь романтичным, а на поверку исполнен лишений и мелких забот; при том, что все радости, доставляемые свершёнными открытиями, поистине захватывающими дух своей грандиозностью, и тем вдохновением, которое озаряет в преддверии постигаемой гармонии мира, – все остается, как говорят, в силе; но и то, другое, – оно – здесь и от него не уйти. История всякой жизни – это история порыва, обузданного условиями человеческого существования. Человек – жертва: дурной наследственности, неудачных родов, болезней, несчастной любви, неблагодарности детей, начальственного гнева, революций, войн, катастроф, стихийных бедствий. «Режима», наконец. И даже преступник – это жертва. Такая вот нерадостная мысль пришла ему в голову, когда он опустил в кресло перед поблескивающим тьмью экраном и начал выжидать положенные самому себе десять минут перед тем как тронуться в путь. Единственная возможность – когда она не отнята насильем – преодолеть «земное притяжение» – это *действовать*. Сегодня он будет действовать. Он с презрением перешагнет уродливый частокол «режима» и на целых три дня станет свободным. Как ветер! Как нейтринный солнечный ветер, подумал Воронин, изучению которого он отдал столько времени и сил.

Приоткрыв дверь кабинки он осторожно выглянул в холл и, убедившись, что сподружники его благополучно заняты волнующим зрелищем в своих звуконепроницаемых сотах, быстро прошел по ворсистому синтетическому ковру, налёг на вертушку-дверь, был вытолкнут ею на каменные ступеньки перед входом, в каком-то судорожном чечёточном ритме пересчитал их каблуками и, выскочив из-под арки, побежал – вверх по улице, ведущей вглубь острова, к возделенному вулканическому конусу. Навстречу ему шли томные женщины, кричали уличные торговцы, мужчины на углу о чём-то разговаривали. Он ничего не видел. Почувствовал, что задыхается, перешел на ходьбу. На остановке автобуса постоял немного, но нетерпение было так велико, что снова пошёл, быстрым шагом, решив любым способом двигаться к цели, и если суждено достичь её пешим ходом – что ж, тем лучше, он всегда любил ходить, а здесь до отеля – это он знал из туристического проспекта – всего лишь двадцать пять километров, к тому же, существует авто-стоп. Или нагонит автобус, и он остановит его. Тут, правда, особой уверенности не было, – попробуй-ка останови автобус Москва-Калуга, где сядешь – там и слезешь. Кончились дома, дорога пошла под уклон, впереди открылась необычайной красоты долина с разбросанными по ней пальмовыми рощицами, виноградниками, пасущимися стадами, фермерскими усадьбами, прямоугольниками возделанных полей, голубой змейкой реки и наброшенной на все это сверху ажурной сеткой асфальтированных дорог. Теиде казался теперь ещё выше и дальше, но это не страшило Воронина. Ощущение полной освобождённости замедлило его шаги, и теперь он как-то забыл о том, что надо спешить, и со стороны вполне мог бы быть принят за прогуливающегося на лоне природы горожанина. В сущности, он им и был. Вольноотпущенник, подумал Воронин. Было солнечно, сухо и довольно прохладно, не больше двадцати трех в тени. Крым да и только! Редкие автомобили настигали его и, обдавая тугими тёплыми волнами, уносились вперед в сверкании и кружении солнечных бликов. Теперь он твердо решил весь путь проделать пешком. Он снял куртку и остался в рубашке с короткими рукавами, натянул на голову предусмотрительно захваченную матерчатую фуражку с пластмассовым козырьком, ускорил шаги. Через полчаса его обогнал автобус. Поравнявшись с Ворониным, водитель притормозил и, открыв переднюю дверь, жестом пригласил в салон. Нет, он благодарит, но предпочитает свой способ передвижения. Большое спасибо!

Вначале он почувствовал беспокойство: такое случается, когда тебя неожиданно окликают, но ты не слышишь, вернее, не сознаёшь, а оклик этот проникает внутрь и начинает свою работу с маленьким, всегда в нас гнездящимся страхом, пока не взрастит его настолько, что он, ворвавшись в сознание, заставит тебя замереть и насторожиться. По-настоящему он услышал, что его зовут, одновременно с лёгким топотом бегущих ног позади себя.

– Иваныч!

Мгновенно и горько раскаявшись, что не сел в автобус, Воронин остановился. Оглянулся. Варфоломеев и Рогов – две ещё далёкие маленькие фигурки – приближались, нагоняли, разрастались в нечто неотвратимое, враждебное. Воронин почувствовал, как им овладевает злость. Он повернулся лицом к своим преследователям и стал ждать. Они тотчас перешли на ходьбу, и теперь он различил на лице Варфоломеева выражение обиды, какое бывает у детей, когда им кажется, что взрослые забыли о них и уходят, заботясь только о своих целях. Рогов виновато улыбался.

Они подходили, всё более замедляя шаг, и остановились перед ним, ещё разгорячённые, не переведя дыхания от долгой погони, и Варфоломеев сказал:

– Иваныч, мы тебя вычислили.

– Ну, и что из этого следует? – Воронин чувствовал, как напряглись плечи и повело челюсти судорогой отвращения. Нет, ему не справиться с ними.

– Чего это ты задумал, Юрий Иваныч? – это Рогов. Дурацкая привычка отвечать вопросом на вопрос. Что задумал, то и задумал, не ваше собачье дело.

– Хочу прогуляться, а что? – Под дурачка сыграть.

– Иваныч, так не делают, нехорошо. А мы как же? Бросил нас, убежал. А мы отвечаем за тебя? Да? Ты же знаешь правила. Один за всех, все за одного. Шаг вправо, шаг влево... Ты ж понимаешь, как у нас – всё на трёх делится. – Варфоломеев и впрямь был похож на обиженного ребенка. Испорченный воспитанием ребёнка.

– Ну, знаю. Ну, понимаю. Дальше что? – Возразить было нечего, и это ещё больше злило Воронина. Он повернулся и пошёл своей дорогой.

– Юра, пойдем обратно, – просительно сказал Рогов. Они шли позади него на расстоянии вытянутой руки. Когда переполнявшая его ярость хлынула через край, Воронин каким-то диким прыжком перевернулся лицом к ним и закричал почти истерически:

– Подонки! Труссы! Убирайтесь! С глаз моих вон! – кричал Воронин, перемежая содержательные части речи фигурами из другого ряда, несущими, как известно, невероятной силы эмоциональный заряд.

Тогда сподружники крепко взяли его под руки, дождалась первой попутной машины – авто-стоп, как и следовало ожидать, работал тут безотказно – отвезли в порт и сдали на корабле третьему помощнику капитана, который освободил их, в свою очередь, от дальнейшей ответственности за нарушителя.

Но... надо работать. В Центральной Атлантике они обнаружили новые интересные эффекты, всех троих, как это часто бывало и раньше, охватил новый азарт, и незаметно пришло примирение, а потом инцидент и вовсе забылся. Тем более, что на следующий день после того неприятного случая сподружники доставили своему научному руководителю прямо на борт добытую для него индийским купцом – и недорого – видеоплеер хорошей западной фирмы. А несколько приложенных к нему кассет скрасили экспедиционный досуг в оставшееся время плавания. И даже третий помощник в свободное от наведения порядка время несколько раз заходил к нашим героям с просьбой «покрутить фильм» в кают-компании и, размягченный, в конце концов пообещал Воронину никуда не сообщать об инциденте, «могшем повлечь за собой непредсказуемые последствия». Спасибо, сказал Воронин. После чего забрался в койку и пролежал на ней оставшиеся три дня, вплоть до швартовки у пирса Николаевского судостроительного завода с поэтическим названием «Океан».

Непротивление злу насилием

Работа была не тяжёлая – нудная. Доцент Кошкин преподавал в заочном вузе, учил молодых экономисток и бухгалтерш обращаться с компьютером и часто, глядя в их подмалёванные глазки, с грустью вспоминал закон Паркинсона, открывший миру, что следствием компьютеризации явится всеобщая глубокая тупость. Да и можно ли чему научить за те куцые, отпущенные чиновничьей прихотью двадцать академических часов, которые бросают ему, как подачку с барского стола, где буйствует пиршество дисциплин «общественных». Если компьютер, отучая думать, берёт на себя эту деликатную функцию, то те, незаконно присвоив себе научные титулы, уже ввергли общество в пучину упадка. Так думал Кошкин, всего третий год благоденствовавший «во доцентстве» и оттого, должно быть, ещё просто не привыкший к унылой рутине, царящей в «народном образовании». Бойкое студенчество цинично шутило: «Вы делаете вид, что нас учите, а мы делаем вид, что учимся.» Зато бумаги с изящными оттисками на мелованных поверхностях, свидетельствующие об «окончании», выдавались исправно, и каждый год новая многотысячная когорта «специалистов» приходила на помощь хиреющей экономике. Господи, спаси и помилуй! – думал Кошкин. Как попугай, он отбарабанивал пятнадцать в год свои двадцать часов, дабы выполнить «нагрузку», и чувствовал: катится под откос. Его знания за ненужностью убывали, как шагреновая кожа; таяла и подспудная надежда настоящего потрудиться на благо отечества. До того как «выйти на пенсию» (так он шутил о своих нынешних занятиях), Кошкин тридцать лет работал в «оборонке».

Но нет, была, была-таки светлая сторона в работе доцента Кошкина! Славный финансово-экономический простирал светильник знаний над всей матушкой Россией. Он делал это добрыми щупальцами своих филиалов, рассаженных по всем частям света, на западе и востоке, севере и юге, в десятках осчастливленных тем городов и весей, куда юные и уже умудрённые жизнью, но одинаково жаждущие познаний души, привлечённые «всесоюзной» вывеской, стекались, обуреваемые к тому же и горячей мечтой практического свойства: занять диплом. Упорно ходил почему-то слух, что именно через эти аудитории кратчайший путь ведёт к цели.

С началом учебного года преподаватели «центра» устремлялись во все концы, чтобы «обеспечить уровень» в слабеньких филиалах, а то и просто «заткнуть дыры», порождённые кадровым дефицитом. Вояжи тянулись непрерывной развлекательной чередой от осени до весны, но никогда не превышали зараз по длительности двух недель – срок, вполне достаточный, по установившемуся мнению, для курса любых наук (с одной стороны), предельный в смысле отрыва от дома и оптимальный, как всем известно, для отдыха посредством смены обстановки.

О, навыки в искусстве таких командировок приобретались не сразу! Кошкин хорошо ещё помнил, как маялся месяцами на полигоне,. Потом пришли новые времена и «новое мышление», вся накопившаяся от монотонности труда горечь разом хлынула через край, Кошкин отнёс кадровикам заявление об уходе и на следующий день не вышел на работу. Уехал к родственникам в деревню Лаптевку, что под Малоярославцем, ходил за грибами, косил, копал картошку, мечтал о собственном клочке земли. Через месяц вернувшись домой, подал заявление на конкурс и, не без протекции, разумеется, занял эту столь вожделенную для многих должность доцента.

Если кто-то думает, что переход от каждодневного изнуряющего хождения «на службу» (чаще, правда, они говорили «на фирму») к «свободному режиму», даруемому доцентской синекурой, если полагают, что таковой скачок переживается, как благо, то смеем вас разуверить: переход от несвободы к свободе не менее болезнен, чем противный – ведущий в тюрьму, лагерь, психушку и к тому подобным ограничениям. Когда Кошкин почувствовал, не умом понял, а именно почувствовал, как говорят, на собственной битой шкуре, что

не нужно ему теперь каждое утро вскакивать ни свет ни заря, мчаться на остановку, втискиваться в автобус, потом со сжатым сердцем опускаться в подземелье, где ко всему ещё добавляется грохот и вкупе с перепадами давления истязает барабанные перепонки не хуже, чем опостылевший рёв так нежно любимых почему-то всеми ракетных двигателей; не надо изнывать от зноя в казахской степи, коченеть на Новой Земле, согреваться спиртом и находить утешение в мечтах о близящейся пенсии, – когда он перешагнул эту грань, то и понял сразу: вот она пенсия! Но счастливым себя отнюдь не ощутил. Очень точно сказано: не находить себе места. Кошкин был в каком-то угаре, всё порывался идти куда-то, или вдруг ему начинало казаться, что, наоборот, сейчас придут за ним и предъявят обвинения, оштрафуют за тунеядство, а то и зашлют на сто первый километр. Одним словом, понемногу сходил с ума. Как там ни говори, а история, видимо, накапливается в генах и травит, и травит неумолимо нас и наших детей. Кошкин понимал это и усилием воли приводил себя «в порядок». Хорошо, длилось то болезненное состояние недолго, месяца три или четыре; после чего наступила блаженная протрация, дважды в неделю прерываемая «явочными днями» (а уж если быть точным – тремя часами присутствия на кафедре всё в том же ничегонеделании, иногда в сопровождении какого ни то заседательского трёпа) и ещё приятными беседами с обаятельным студенчеством, по преимуществу женского пола, под знаменем лекций по информатике.

А потом Кошкин первый раз поехал читать «за пределы метрополии» – в Тулу. Коллеги снабдили вояжера не только полезными наставлениями, но всем необходимым для того, чтобы сделать командировочную беспризорную жизнь беззаботной и даже не лишённой приятности. Следовало взять с собой электроплитку, тёрку, столовый прибор, кастрюлю и, конечно, продукты. Таким образом одна из неразрешимых российских проблем – питание – нет, не снималась вовсе, но, освобождённая от очередей и мучительных ресторанных бдений, оборачивалась времяпрепровождением, посвящённым исключительно искусству кулинарии. Что до жилья, то педагогам-наместникам всегда был обеспечен отдельный номер в лучшей гостинице.

Занятия шли по вечерам, день был свободен, при хорошей погоде Кошкин уезжал с утра в Ясную Поляну, гулял по аллеям старинного имения, по осеннему лесу, заходил с экскурсиями в дом великого и несчастного человека, переносился душой и мыслями в прошлое и почему-то печалился. Стоял над Большим прудом, над беззащитной трогательной могилкой, над камнем, обозначившим место старого дома. Думал о русском, об упадке духа, дела. Об упадке культуры. О непротивлении злу насилием и собственной жизни. Грустнел. Но по вечерам, глядя с кафедры в лица русских красавиц, усталые, одушевлённые тягой к свету, утешался тем, что народ жив, и засыпал ночью довольно умиротворённый.

На работу ходил пешком, шел от Московского вокзала, от гостиницы, сначала по Красноармейскому проспекту, потом поворачивал направо, поднимался по улице Фрунзе до улицы демонстрации 1903 года или до Первомайской и по ним, на выбор, мог выйти на улицу Фридриха Энгельса, где и располагался «филиал» на двух этажах угрюмого здания из серого кирпича. Обратно спускался по проспекту Ленина до главпочтамта и по междугородному звонил домой – душа была беспокойна, а почему – и сама не знала. Ах, вот, впрочем: сын обзавёлся финкой, носит в кармане. Попытались было отнять с матерью, но получили отпор. Он представлял себе своего мальчика наносящим оборонительный, возможно, смертельный удар и невольно содрогался. Думал с ироническим кому-то укором: а вы говорите – непротивление злу. Какое там!

Или просто бродил по улицам. Заходил в пустые магазины, букинистическую лавку. Над городом стлались промышленные дымки, иногда вытесняемые бесцветной отравой со Щёкинского химкомбината. Административная кубистическая громада нависала над запущенным Кремлем, изнутри точимым опухолью «Электрических сетей», над останками Успенского монастыря, где правила нынче бал неведомо какими резонами учрежденная в этом континен-

тальном краю Морская школа. Шестнадцать фанерно-кумачевых гербов декорировали площадь в стиле соцреализма.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.